NOTHOMB

AMÉLIE

АМЕЛИ НОТОМБ

Метафизика труб

Амели здесь три года, но ее жизнь – это уже роман. И какой роман! [L'Express]



THE BEST OF **ИНОСТРАНКА**

Метафизика труб
Амели Нотомб

Аннотация
Амели Нотомб. Метафизика труб

Аннотация

Амели Нотомб, признанная раз и навсегда enfant terrible французской литературы, каждой новой книгой бросает вызов. Уже одно название ее автобиографического романа «Метафизика труб», вышедшего полумиллионным тиражом, интригует читателя. На сей раз Амели отважно решилась рассказать всему миру о своих переживаниях и комплексах, чувствах и мыслях, а также о тех метаморфозах, что происходили с ней в детстве. В романе есть все: изощренный ум, чувство юмора, неожиданные открытия, смешные ситуации и заставляющий улыбнуться финал.

Амели Нотомб
Метафизика труб

Вначале не было *ничего.* Это была не пустота и не туманная неясность, а просто-напросто *ничего.* И Создателю это *ничего* пришлось по душе. Ему ни за что на свете не удалось бы сотворить такое чудо. Это *ничего* было его подобием.

У новоиспеченного Бога глаза никогда не закрывались. И даже если бы закрывались, от этого ничего бы не изменилось. Смотреть было не на что, а потому Бог и не смотрел. Он был круглым, плотным, тугим и неподвижным, как сваренное вкрутую яйцо.

Бог был абсолютно самодостаточен. Он ничего не чувствовал, ничего не хотел, ничего не просил, ни от чего не отказывался и ничем не интересовался. Ну что это за жизнь, когда ничего не хочется? Бог не жил, а существовал.

Он и сам не заметил момента своего рождения. Некоторые толстые книги начинаются с таких незначительных фраз, что их мгновенно забываешь, но при этом кажется, что читаешь эти книги всю жизнь. Так было и с Богом: он появился как-то незаметно. Словно существовал всегда.

Бог не умел ни говорить, ни думать. Времени он также не замечал и был само спокойствие и ублаготворенность. И все это как нельзя лучше подтверждало, что наш Бог и вправду был Богом.

Однако самому Богу было совершенно наплевать на свое божественное естество.

Человеческие глаза обладают удивительным свойством — выразительным, говорящим взглядом. Это совершенно особый дар. Из всех органов чувств он присущ только глазам. Не скажешь же об ушах, что они отличаются «тончайшим слухом», а ноздри — «сверхчутким нюхом».

Но что такое взгляд? Объяснить невозможно. Слов не хватит, чтобы определить его загадочную природу. Между тем взгляд живет своей собственной жизнью. И отрицать эту реальность совершенно бессмысленно.

Чем отличаются говорящие глаза от пустых и тусклых глаз? Глаза бывают живые и безжизненные. Взгляд — это жизнь.

У новоявленного Бога не было взгляда.

Глотание, пищеварение и, как прямое следствие — облегчение. Это все, чему предавался Бог круглые сутки. Сам он даже не замечал естественных процессов, которые свершались в его теле. Однообразная пища и безвкусное питье не доставляли ему никакого удовольствия. Бог лишь добросовестно открывал все свои отверстия, чтобы твердые и жидкие продукты проходили, не

задерживаясь, сквозь его тело.

Вот почему, говоря об этой поре его существования, так и хочется наречь его Богом-трубой.

Надо вам сказать, что трубы живут своей, метафизической жизнью. Славомир Мрожек любил записывать на водосточных трубах приходившие ему в голову мысли, и никто не понимал: то ли это философские сентенции, то ли смешные глупости. А может, и то и другое. Ведь что такое труба? Это редкостное воплощение полноты и одновременно пустоты, полая материя, тонкая мембрана, отделяющая существование от небытия. Шланг — смягченная версия трубы, но податливость вовсе не делает его менее загадочным.

Бог был мягким, как шланг, и упрямо неподвижным, как любая труба. Ничто не могло поколебать абсолютного спокойствия этого цилиндра. Он пропускал через себя Вселенную, ничего при этом не удерживая.

Родители трубы не находили себе места от беспокойства. Они приглашали все новых и новых врачей, чтобы решить, что делать с этим непонятным кусочком живой материи, который совсем не выглядел живым.

Доктора вертели его и так и сяк, похлопывали и там и сям, чтобы проверить его рефлексы, и каж-

дый раз убеждались, что они у него отсутствуют. И даже если к глазам трубы подносили яркую лампу, они не мигали.

— Этот ребенок никогда не плачет и не двигается, — жаловались родители.

Медики ставили диагноз: «патологическая апатия», не задумываясь о противоречии, которое таилось в сочетании этих двух слов.

— Ваш ребенок — овощ. И это очень тревожный симптом, — говорили они.

Но родители восприняли это как хорошую новость и вздохнули с облегчением. Овощ — это все-таки что-то живое.

— Вашего ребенка следует госпитализировать, — настаивали врачи.

Родители не послушались этого совета. У них уже было двое детей — это были самые настоящие человеческие детеныши. Ничего страшного, если младшенькое чадо будет принадлежать к миру растений. Их это даже умиляло.

И они ласково прозвали своего младенца «Растением».

Все при этом дружно ошибались. И врачи, и родители. Ведь растения и овощи на самом деле живут пусть и незаметной для человеческого глаза, но очень напряженной жизнью. Они трепе-

щут, чувствуя приближение грозы, радостными слезами росы встречают восход солнца, пускают в ход колючки, если их обижают, и затевают «танец семи покрывал», когда наступает пора опыления. Все растения наверняка обладают взглядом, хотя никто не видит их зрачков.

Труба же была воплощением неподвижности. Она ничего не замечала: ни перемены погоды, ни дня, ни ночи, ни бесчисленных жизненных пустяков, ни великого таинства опускающейся на землю тишины.

Землетрясения, которые каждую неделю случались в Кансае, вызывая страх и слезы у старших детей, не производили на трубу никакого впечатления. Ей было наплевать на шкалу Рихтера. Как-то вечером толчок в 5,6 балла сотряс гору, у подножия которой приютился их дом, и куски штукатурки посыпались прямо на ее колыбельку. Когда трубу вытащили из-под обломков, она сохраняла абсолютное спокойствие: ее глаза с полным равнодушием смотрели на народ, сбежавшийся спасать ее из-под мусора, под которым ей было тепло и уютно.

Непоколебимый флегматизм Растения озадачивал его родителей, и они решили подвергнуть своего ребенка суровому испытанию. Они пе-

рестали его поить и кормить, чтобы дождаться, когда же он проголодается и потребует пищи.

Но — не на того напали! Дитя приняло голодание столь же смиренно, как и все остальное, чему его подвергали, — не выражая при этом ни радости, ни гнева. Есть или не есть, пить или не пить — трубе было все равно. Быть или не быть — подобный вопрос ее не занимал.

К вечеру третьего дня родители с ужасом констатировали, что их Растение слегка осунулось, а его полуоткрытый ротик явно пересох, но в остальном с ним было все в порядке. Так и не дождавшись от него жалоб, они сунули ему рожок с подслащенной водой, который Растение опустошило без всякого удовольствия.

— Этот ребенок скорее умрет, чем заплачет, — сказала потрясенная мать.

— Не будем говорить об этом врачам, а то они сочтут, что мы садисты, — сказал отец.

На самом деле они не были садистами, но как смириться с мыслью, что их младший отпрыск начисто лишен инстинкта выживания? У родителей даже мелькнуло подозрение: а что, если их дитя на самом деле не растение, а труба? Однако они постарались тут же отогнать эту тревожную мысль.

С присущей им беззаботностью родители постарались забыть о неприятном эксперименте с голоданием. У них было трое детей: мальчик, девочка и овощ. В этом разнообразии была своя прелесть. Тем более что двое старших непрестанно бегали, прыгали, кричали, ссорились и озорничали, а потому требовали неусыпного надзора.

А с младшеньким чадом — никаких хлопот. Его можно было оставить на целый день без присмотра, и вечером это дитя лежало в том же положении, что и утром. Ему меняли пеленки, кормили — вот и все заботы. Даже золотая рыбка, что плавала в аквариуме, доставляла больше беспокойства, чем этот младенец. Вот разве что глаза у него были какие-то пустые и безжизненные, но это не мешало ему выглядеть вполне нормальным ребенком: спокойный красивый младенец, которого не стыдно показать гостям. Другие родители даже завидовали, когда им демонстрировали этого замечательного ребенка.

В действительности же маленький Бог был воплощением инерции — наимощнейшей из всех сил. И самой противоречивой из них: казалось бы, каким образом она может исходить от неподвижного предмета? Но сила инерции — это сила

личинки. Когда народ отказывается от прогресса, способного улучшить его жизнь, когда машина, которую толкает десяток человек, не двигается с места, когда ребенок часами просиживает перед телевизором, когда никак не могут расстаться с заведомо ложной и порочной идеей, то сталкиваются с чудовищной и непреодолимой властью инерции.

Вот этакую власть и воплощала собой наша труба.

Она никогда не плакала. Даже при рождении на белый свет она не издала ни единого звука. Очевидно, ее совершенно не потрясла и не умилила встреча с миром, в котором она очутилась.

Поначалу мать, как и положено, пыталась кормить ее грудью. Однако при виде груди-кормилицы в глазах трубы не вспыхнуло ни малейшего интереса. Явно задетая таким равнодушием, мать сунула ей сосок в рот. Едва попробовав материнского молока, Бог отверг это угощение.

Мать отказалась от дальнейших попыток приобщить свое дитя к грудному молоку и была права: бутылочка с соской куда больше подходила трубе, учитывая ее собственную природу. Цилиндрическая форма бутылочки пришлась ей гораздо больше по вкусу, чем шарообразная ма-

теринская грудь, в которой труба не распознала ничего родственного.

Теперь мать несколько раз в день давала ей бутылочку, не подозревая, что выполняет при этом роль водопроводчика, соединяющего две трубы. Кормежка Бога происходила как самая банальная сантехническая процедура.

«Все течет», «все изменяется», «в одну реку нельзя войти дважды» и т. д. Бедный Гераклит покончил бы с собой, доведись ему встретиться с Богом-трубой, который был самим отрицанием подобного представления о Вселенной. Если бы труба умела говорить, она наверняка возразила бы мыслителю из Эфеса: «Ничто не течет», «все остается на месте» и «все постоянно плещутся в одном и том же болоте» и т. д. К счастью, ни одна форма общения невозможна без изначального движущего усилия. И ни одна мысль не может оформиться без помощи слова. Философские концепции Бога-трубы не обретали ни мысленного, ни словесного выражения и не могли никому навредить, в противном случае подобные жизненные принципы могли бы, чего доброго, подорвать моральные устои всего человечества.

Родители трубы были бельгийцами. Следова-

тельно, и Бог был бельгийского происхождения — вот почему на род людской во все времена обрушивалось столько несчастий. Ничего удивительного. Адам и Ева говорили, конечно, по-фламандски, что еще несколько столетий назад убедительно доказал священник этой равнинной страны.

Труба придумала хитроумный способ, как положить конец национальным распрям на лингвистической почве: она вообще не говорила.

Однако родителей тревожило не столько ее молчание, сколько полная неподвижность. Труба уже целый год жила на свете, но даже пальцем ни разу не пошевелила. Другие дети в этом возрасте делают первые шаги, впервые начинают улыбаться, впервые… Каждый день они совершают что-то впервые. А Бог как был ничем, так и оставался ничем. И как с самого начала ничего не делал, так и продолжал ничего не делать.

Все это вовсе не мешало ему расти. Он рос, как самый обычный ребенок. Вот только мозг его спал. И родители с изумлением разглядывали свое дитя: в их доме жило нечто непонятное, которое с каждым днем занимало все больше и больше места.

Ему скоро стала мала его колыбелька. Пришло время переселяться в кроватку, в которой поначалу спал его братец, а потом сестрица.

— Может, эта перемена разбудит наше Растение, — с надеждой говорила мать.

Эта перемена ничего не изменила.

Со дня сотворения Вселенной Бог помещался в родительской спальне. И он им ничуть не мешал. Как может мешать зеленое растение?

Оно даже не смотрело на них.

Время придумано движением. А кто не двигается, тот не замечает и времени.

У трубы не было никакого представления о времени. Она и не заметила, как прожила два года, и не знала: то ли два дня пролетело, то ли два столетия. Труба так и провела эти два года в одной позе, даже не пытаясь ее сменить. Она лежала на спине, вытянув руки вдоль тела, словно маленькая надгробная плита.

Мать взяла ее под мышки, чтобы поставить на ноги, а отец положил ее ручки на решетку кровати, чтобы научить ее держаться. Как только они отпустили руки, Божество повалилось на спину и снова предалось медитации.

— Давай попробуем включить музыку, — предложила мать. — Дети любят музыку.

Моцарт, Шопен, диски Битлз, песенки из фильма Диснея и даже shaku hachi не произвели на их чадо никакого впечатления. Оно оставалось, как всегда, равнодушно-неподвижным.

Родители отказались от мысли сделать из него музыканта. Более того, они вообще распрощались с надеждой вырастить из него нормального человека.

Взгляд — это выбор. Каждый по своему усмотрению выбирает, на что ему обратить свой взор, оставив без внимания все остальное. Так что взгляд — это сама жизнь. И прежде всего это — отказ.

Жить — значит от чего-то отказываться. Тот, кто принимает все подряд, похож на сливное отверстие в рукомойнике. Чтобы жить, для начала нужно научиться отличать собственную мать от потолка. Нужно выбрать, кто или что тебе важнее: мама или потолок, и отказаться от того, что менее важно. Но если выбирают за тебя — это не выбор.

Бог ни от чего не отказывался, потому что не утруждал себя выбором. Поэтому он и не жил.

Стоит младенцу появиться на свет, как он громко плачет. Он плачет от боли. И его крик — это уже бунт, а бунт — отказ от чего-то. Вот почему

ребенок начинает жить только в день своего рождения, а не в материнской утробе, как утверждают некоторые ученые.

Труба за время своего существования не издала ни единого писка.

Однако врачи определили, что она вовсе не страдает глухотой, немотой или слепотой. Просто это был рукомойник без пробки. И если бы он умел говорить, он непрестанно повторял бы только одно слово: *да.*

Люди извечно культивируют порядок. Они свято верят, что эволюция — это закономерный результат естественного процесса. А что, если не естественный процесс, а напротив — какое-то фатальное биологическое отклонение побудило человека в годовалом возрасте сначала подняться с четвереньек, а затем, спустя тысячелетия, научиться ходить?

Никто не верит, что несчастный случай может иметь благие последствия. Человеческое воображение не способно допустить подобную возможность, и само словосочетание «несчастный случай» говорит о страхе перед подстерегающим нас роком или трагической случайностью, что еще хуже. Если бы кто-то вдруг осмелился сказать: «В результате несчастного случая я в го-

довалом возрасте начал ходить», или: «Благодаря несчастному случаю человек превратился в двуногое существо», — его сочли бы умалишенным.

Теория о пользе несчастных случаев кажется людям совершенно недопустимой, потому что позволяет предположить, что все могло происходить не так, как произошло, а совсем иначе. Люди не способны допустить саму мысль, что годовалый ребенок не попытается сделать первые шаги. Стоит предположить нечто подобное — и можно дойти до гипотезы, что человек вовсе не обязательно должен был когда-то выпрямиться и научиться ходить, опираясь только на нижние конечности. Неужели до этого не додумался бы столь блистательный биологический вид, как наш?

Труба в свои два года даже не пыталась ползать и ни разу не пошевелилась. И за два года ни разу не подала голос. Взрослые заключили, что у нее запоздалое развитие. Им никогда не пришло бы в голову, что этот ребенок ждет несчастного случая, чтобы проснуться. Кто же поверит, что, быть может, именно несчастный случай помог человечеству преодолеть свою инертность?

Несчастные случаи бывают разные: физические и психологические. Люди полностью отрицают

существование последних и не признают их позитивной роли в человеческой эволюции.

На самом деле ничто так не помогает человеку стать человеком, как психологический шок. Это все равно что соринка, которая случайно проникает в раковину мозга, ухитрившись преодолеть скорлупу черепной коробки. Это ненароком просочившееся инородное тело нарушает царившее там сонное равновесие, и нежная материя, которая прячется в этой скорлупе, бурно реагирует на возникшую угрозу. Моллюск, мирно дремавший в раковине, силится защитить себя от возникшей опасности. Он вырабатывает волшебную субстанцию, перламутр, и глазирует им нежданную пришелицу, чтобы сделать ее своей частью, — так и рождается жемчужина.

Бывает, что в человеческом мозгу, без всякого внешнего влияния, происходит непонятное потрясение. Это самые таинственные и опасные случаи. В один прекрасный день в лабиринтах серого вещества вдруг зарождается безумная идея и навсегда лишает человека покоя. Возникший вирус начинает свою губительную работу, и остановить его уже невозможно.

И человек забывает о покое. Он ищет тысячу различных ответов на буравящий его мозг во-

прос. Он начинает метаться, спорить с самим собой и придумывать сотню всевозможных выходов из создавшегося положения.

Однако он не только не находит этого выхода, но еще больше усугубляет свою ситуацию. Чем больше он рассуждает, тем меньше понимает, и сколько бы ни двигался, не может стронуться с места. Очень скоро он будет горько сожалеть о своем прежнем личиночном существовании, хотя и не осмелится себе в этом признаться.

Но встречаются человеческие существа, которые не следуют законам обычного развития и никогда не сталкиваются с роковыми случайностями. Это клинические овощи. Так называют подобных людей медики. На самом же деле многие из нас не прочь пожить как овощи. Это самая обыкновенная жизнь, которую принимают за отставание в развитии.

Это был день как день. И он ничем не отличался от других. Родители исправно выполняли свои родительские обязанности, дети, как и положено детям, озорничали, а труба концентрировалась на своем цилиндрическом предназначении.

Между тем это был самый важный день в ее жизни. Хотя никто и не запомнил эту историческую дату. Точно так же ни в каких архивах вы не

найдете точную дату, когда человек впервые выпрямился. Или осознал, что такое смерть. Самые важные события в истории человечества прошли почти не замеченными.

В тот день все вдруг услышали пронзительные вопли. Испуганная мать и гувернантка заметались по дому, чтобы найти, кто же это кричит. Быть может, в дом забралась дикая обезьяна? Или сумасшедший, который сбежал из психбольницы?

Не обнаружив никого постороннего, мать заглянула в спальню. И — обомлела: Бог восседал в своей кроватке и вопил что есть мочи, как может орать самый обычный двухлетний ребенок.

Мать подошла поближе — она не узнавала своего загадочного чада, которое два года умиляло ее своим спокойствием. И что стало с его огромными серо-зелеными глазами, всегда широко распахнутыми и неподвижными? Они почернели, как угли, и горели злобным огнем.

Что же должно было стрястись, чтобы эти светлые и равнодушные глаза превратились в горящие уголья? Какое ужасное потрясение разбудило это существо и превратило его в орущую машину?

Ясно было только одно: ребенок — в ярости.

Необузданный гнев вывел его из оцепенения, но что могло вызвать такой страшный гнев? Никто этого так и не узнал.

Мать, с восторгом созерцавшая свое очнувшееся от двухлетней спячки дитя, взяла его на руки. Но оно так яростно размахивало и бутузило ее всеми своими конечностями, что ей пришлось тут же уложить его в кроватку.

Она обежала весь дом с радостной вестью:

— Растение проснулось!

Она конечно же позвала отца, чтобы тот подивился на чудо природы. Брата и сестру тоже призвали полюбоваться на священный гнев их домашнего Бога.

Побушевав несколько часов подряд, Божество затихло, но глаза его по-прежнему оставались угольно-черными от гнева. Ясно было, что Бог сердит на все человечество. Утомившись от собственного гнева, он вытянулся в своей кроватке и уснул.

Семья восторженно аплодировала. Все восприняли это как замечательный знак: ребенок наконец-то ожил.

Как объяснить столь запоздалое рождение, которое свершилось два года спустя после появления этого странного существа на свет?

Ни одному медику не удалось разгадать эту тайну. Словно ребенку понадобилось еще два года послеутробной беременности, чтобы дозреть до нормальной стадии развития.

Да, но как понять этот священный гнев? Что могло его вызвать? Скорее всего, его вызвал какой-то психологический шок. В мозгу ребенка что-то стряслось. И это полностью нарушило ленивый покой, в котором пребывало его серое вещество. Эту инертную массу начали пронизывать нервные токи. И серое вещество пришло в движение.

Чего только не случается в мире по совершенно непонятным причинам! В одночасье рушатся империи. Или вдруг, в мгновение ока, симпатичные, но неподвижные и безгласные детишки превращаются в горластых монстров. И самое удивительное, что подобные превращения приводят их близких в безграничный восторг.

Sic transit tibi gloria[1].

Отец по этому поводу так разволновался, словно у него родился четвертый ребенок.

Он тут же позвонил своей матери, которая жи-

---

[1] Примечания: 1

Так к тебе приходит слава. — Обыгрывается латинское изречение «Sic transit gloria mundi» (так проходит мирская (земная) слава). *(Здесь и далее прим. перев.)*

ла в Брюсселе.

— Наше Растение проснулось! Садись поскорее в самолет и лети к нам!

Бабушка сказала, что сначала она должна заказать себе несколько новых костюмов для путешествия: это была очень элегантная женщина. В результате ее приезд задержался на несколько месяцев.

А родители той порой уже с умилением вспоминали об овоще, которым еще недавно был их ребенок. Бог непрестанно гневался. Ему издалека бросали бутылочки с питьем, опасаясь получить от него тумака. Иногда он на несколько часов умолкал, но никто не знал, почему он затих. Теперь общение с ним происходило по новому сценарию: улучив минуту, когда дитя не бушевало, его брали на руки и сажали в манеж. Несколько минут ребенок с изумлением разглядывал окружавшие его игрушки.

Затем его снова охватывал гнев. Он понимал, что все эти предметы существуют независимо от него. Смириться с этим он не мог и начинал яростно вопить.

Кроме того, он заметил, что родители и их окружение производят ртом какие-то звуки: это позволяет им контролировать ситуацию и дер-

жать все в своих руках.

Ему захотелось научиться делать то же самое. Разве это не главная божественная прерогатива — давать название вещам? Он тыкал пальцем в игрушку, чтобы подарить ей право на жизнь, но изо рта вылетало нечто бессвязное. Бога это удивляло — он же чувствовал, что может говорить. Нет, с подобным унижением он мириться не мог и начинал бурно негодовать.

Вот что ему хотелось прокричать:

«Вы шевелите губами, и у вас вылетают слова! А когда я шевелю губами, у меня вылетает только шум! Почему такая несправедливость? Буду орать до тех пор, пока не научусь говорить!»

А вот как мать понимала возмущенные крики своего чада:

— Нет, это ненормально! Ребенку уже два года, а он ничего не умеет. Видно, он сам понимает, что запаздывает в развитии, и переживает.

Какая чепуха! Бог вовсе не сознавал своего отставания. Если он отстает, то от кого? Чтобы осознать свое отставание, необходимо уметь сравнивать. А Бог сравнивать не умел. Но он чувствовал в себе гигантские силы и негодовал оттого, что не может пустить их в ход. Его предавал собственный рот. Он не сомневался в своем

божественном всевластии и не мог смириться с тем, что ему не подчиняются его губы.

Мать подходила к нему и громко и четко произносила самые простые слова:

— Папа! Мама!

Бога приводило в ярость, что ему предлагают повторять такие глупости. Неужели она не понимает, с кем имеет дело? Ведь это он, Бог, сотворил речь. И он никогда не опустится до того, чтобы повторять такие примитивные словечки, как «папа» и «мама». Пусть его сколько угодно наказывают, но он будет орать все сильней и сильней.

Родители с горьким сожалением вспоминали недавние времена, когда их дитя не причиняло им никаких хлопот. В один прекрасный день их ребенка словно подменили, но что они от этого выиграли? Вместо загадочного, но спокойного дитяти они получили вечно воющего щенка добермана.

— Помнишь, каким славным было наше Растение! А какие у него были красивые и спокойные глаза!

— Да, и оно не мешало нам спать по ночам!

О сне им пришлось теперь забыть, потому что Бог сам не спал и другим не давал. В лучшем

случае он засыпал часа на два, а остальную часть ночи злобно орал.

— Послушай, — выговаривал ребенку отец, — мы знаем, что два года ты проспал и хорошо выспался. Но это не значит, что теперь ты можешь всех нас лишать покоя.

Бог вел себя как Людовик XIV: тот если не спал, то не позволял спать никому вокруг; если не ел, не позволял никому есть; если не двигался, не позволял никому ходить; если молчал, не позволял никому говорить. Короля особенно бесило, если кто-то осмеливался открыть рот без его высочайшего дозволения.

Врачи новое состояние ребенка понимали не лучше, чем предыдущее, которое они называли «патологической апатией». Теперь ее сменила «патологическая раздражительность». Но отчего и почему это произошло, врачи сказать не могли. Поэтому они лишь осторожно советовали:

— Ваш ребенок два года молчал, и нужно просто подождать, когда он вволю накричится и успокоится.

«Если я не выкину его раньше в окошко», — подумала уставшая от его вечного ора мать.

Костюмы брюссельской бабушки наконец-то были готовы. Она уложила их в чемодан, наве-

далась перед отъездом к парикмахеру и села в самолет Брюссель — Осака, которому в 1970 году требовалось около двадцати часов, чтобы преодолеть разделявшее эти города расстояние.

Родители встречали ее в аэропорту. Они не виделись с 1967 года. Бабушка обняла сына, расцеловала невестку и с первой же минуты начала восхищаться Японией.

По дороге, которая вела в гору, разговор зашел о детях: старшие дети были — лучше не бывает, а вот с третьим ребенком — сплошные проблемы. «Просто не знаем, что с ним делать», — вздыхали родители. Бабушка успокаивала их, что все наладится.

Их дом привел ее в восторг.

— Как у вас тут все по-японски! — восклицала она, любуясь гостиной с татами на полу и садом, в котором уже в феврале белоснежные лепестки устилали ковром землю под сливовыми деревьями.

Она три года не видела старших детей, и ее умиляло, как подросли ее семилетний внук и пятилетняя внучка. Она попросила, чтобы ее познакомили и с младшим чадом, которого она еще не видела. Никому не хотелось провожать ее в логово этого монстра, и ей сказали:

— Иди сама, это первая комната налево, ты не ошибешься.

Уже издалека бабушка услышала дикий рев. Но она прихватила с собой кое-что из дорожной сумки и смело ступила на арену.

Два с половиной года. Непрерывный крик, ярость и негодование: мир не подчиняется рукам и голосу Бога. Вокруг — решетчатые стенки детской кроватки. Бог чувствует себя в клетке. Вот бы сломать ее! Но ему это не под силу. От злости он колотит ногами по простыне и одеялу.

Над головой — потолок, на котором он уже изучил каждую трещину. Потолок и трещины — это его единственные собеседники, и он выкрикивает им свое глубочайшее презрение. Потолку на его презрение наплевать. И Бог впадает в еще большую ярость.

Вдруг привычную перспективу заслоняет незнакомое лицо. Кто это? Похоже, это взрослый человек. И вроде того же пола, что и мать. После минутного замешательства Бог громким криком выражает свое неудовольствие.

Лицо улыбается. Богу хорошо известны эти уловки: его стараются задобрить. Но его не проведешь. Сейчас он покажет зубы. А лицо говорит ему какие-то слова. Сжав кулаки, Бог отбивает

эти слова на лету. Полный нокаут!

Сейчас ему, конечно, протянут руку. Он привык, что взрослые всегда пытаются его погладить. Как только незнакомка протянет к нему руку, он укусит ее за палец. И он изготовился к нападению.

Рука и в самом деле тянется к нему, но что это? В руке — какая-то странная палочка. Ничего подобного Бог еще не видел и от удивления смолкает.

— Это белый бельгийский шоколад, — объясняет бабушка ребенку, с которым хочет подружиться.

Из всей фразы Бог понял только слово «белый». Оно ему знакомо: белое молоко, белые стены. Смысл других слов ему непонятен: «шоколад», да еще «бельгийский». Но палочка приблизилась уже к самому рту.

— Это можно есть. Попробуй, это вкусно, — говорит бабушка.

Есть: это слово тоже известно Богу. Он часто ест. Еда — это рожок, пюре с мясными кусочками, мякоть банана, перемешанная с натертым яблоком, и апельсиновый сок.

У каждой еды свой запах. У этой белой палочки очень вкусный запах. Она пахнет лучше, чем мыло или крем, которым его смазывают после мытья. Богу и хочется и колется. Он морщится от

отвращения и при этом глотает слюнки.

Наконец он набирается мужества и зубами отхватывает кусочек загадочного лакомства. Он пытается его разжевать, но оно само тает на языке и заполняет рот и гортань. И тут происходит чудо.

Неизведанное до сей поры наслаждение ударяет в голову, приводит в движение мозг, и тут раздается незнакомый голос:

— Это я! Я живу! Я говорю! Я не «он» и не «оно»! Я — это я! И если ты говоришь о себе, не говори «он» или «оно», а говори «я»! Я твой лучший друг: это благодаря мне ты испытываешь удовольствие.

В эту минуту я и родилась. Это произошло в феврале 1970 года, в горах Кансая, в деревне Сюкугава, в присутствии моей бабушки по отцовской линии и благодаря ее белому шоколаду. Мне было тогда два с половиной года.

А зазвучавший во мне голос все не умолкал:

— Это вкусно, это сладко, хочу еще!

Я вгрызалась в палочку, а голос продолжал кричать:

— Удовольствие — это чудо! Только удовольствие открыло мне, что я — это я. Я существую только благодаря удовольствию.

Удовольствие — это я: есть удовольствие — есть

и я. Нет удовольствия — нет и меня!

Кусочек за кусочком я поглощала волшебную белую палочку, а голос в моей голове кричал все громче:

— Да здравствую я! Я такое же чудо, как и наслаждение, которое я только что открыла. Что такое этот шоколад без меня? Просто палочка, и все. Но стоит ее положить в рот, и она превращается в наслаждение. Она нужна мне, а я нужна ей.

Эти ценные мысли отзывались звонкой отрыжкой, я во все глаза смотрела на шоколад и радостно дрыгала ногами.

Я чувствовала, как всё и навсегда отпечатывается в моем мозгу.

Когда весь шоколад, кусочек за кусочком, перешел в меня, я снова заметила руку, протянувшую мне это неземное лакомство. Но у этой руки было еще и тело, которое увенчивалось ласково улыбающимся лицом. Мой внутренний голос сказал:

— Я не знаю тебя, но раз ты принесла мне такую сласть, ты хорошая!

Теперь ко мне потянулись сразу две руки.

Они подняли меня из моей клетки — так я оказалась на руках этой незнакомки.

Родители остолбенели от изумления, когда увидели улыбающуюся бабушку, а на руках у нее

— спокойное и счастливое дитя.

— Знакомьтесь! Это моя подружка, — объявила она торжествующим тоном.

Всем хотелось подержать меня на руках, и мои родители не верили своим глазам. Они были одновременно счастливы и озадачены: как понять это превращение? Они просили бабушку открыть им секрет чудесной метаморфозы.

Но та предпочла сохранить свое секретное оружие в тайне. Тогда решили, что она обладает волшебным даром изгонять злых духов. Но никто не мог предположить, что звереныш, каким я была, на всю жизнь запомнит, как из него изгоняли бесов.

Уж кто-кто, а пчелы знают, что только мед пробуждает их личинки к жизни. Если бы они кормили их не медом, а пюре с мясными волокнами, им не удалось бы вырастить таких тружениц и добытчиц. Моя мать свято верила в теорию, по которой во всех человеческих бедах виноват сахар. Однако случилось так, что именно благодаря этому «белому яду» (как она его называла) ее младшее чадо стало более или менее нормальным ребенком.

Как я себя понимаю! В два с половиной года я пробудилась для того, чтобы понять, что жизнь

— это долина слез, где питаются одной вареной морковкой с ветчиной. У меня было чувство, что меня здорово надули. С какой стати было мучиться и рождаться на свет, если не ради удовольствия? Сколько возможностей у взрослых, чтобы получать наслаждение от жизни! А детям дорогу в рай открывают только сласти.

Бабушка накормила меня сладким, и благодаря его вкусу дикое животное внезапно открыло, что в скучной жизни есть и свои радости, что тело и мозг способны ликовать от наслаждения и что не стоит злиться на все человечество и самое себя. Удовольствие воспользовалось случаем, чтобы дать имя пробужденному им органу: оно назвало его «я», и мне оставалось лишь запомнить это имя.

Во все времена существует немало глупцов, которые чувственность противопоставляют интеллекту. При этом возникает порочный круг: они отказываются от сладострастия, чтобы оттачивать свой ум, а на деле лишь обедняют его этим героическим воздержанием. В результате они с каждым днем становятся все глупее, и чем больше глупеют, тем кажутся себе умнее. Но, как известно, именно дураки считают себя умнее всех.

Наслаждение воздает сторицей тому, кто себе его позволяет. Удовольствие пробуждает мозг и заставляет его развиваться в самых различных направлениях. Его магическое воздействие столь огромно, что иногда достаточно предаться наслаждению хотя бы мысленно. И человек — спасен. В то время как воинствующая фригидность обречена славить собственную нежизнь.

Сколько светских краснобаев хвастливо превозносят свое воздержание, на протяжении четверти века лишая себя удовольствий! И сколько безнадежных тупиц гордятся тем, что не любят музыку, не прочитали ни одной книги или ни разу в жизни не были в кино. Есть и такие, кто — в надежде на всеобщее восхищение — несут как знамя свою девственность. Только она одна и тешит их тщеславие. Иные жизненные радости им недоступны.

Разбудив во мне мое «я», белый шоколад одарил меня памятью: начиная с февраля 1970 года я помню все, что со мной было. А до этого и запоминать было нечего. Удовольствие! Только оно и заслуживает воспоминаний.

Естественно, мне никто не поверит, что я действительно помню все, что со мной было. Но какая мне разница? Да, это звучит неправдопо-

добно, но мне все равно: хотите — верьте, хотите — нет. Это ваше дело.

Само собой, я не помню повседневных родительских забот. Или о чем мои родители говорили с друзьями и т. д. Но я помню все для меня маломальски важное: зеленые воды озера, в котором я училась плавать, аромат цветущих деревьев в саду, пьянящий вкус попробованной тайком сливы и прочие приятные открытия.

Я не помню ничего из того, что было до белого шоколада, и мне приходится полагаться на свидетельства моих близких, которые я и стараюсь здесь воспроизвести. Ну а после белого шоколада — вся информация из первых рук, одной из которых я и пишу эту книгу.

Я стала ребенком, о котором мечтают все родители: благоразумным и в то же время бойким, тихим и резвым, шаловливым и серьезным, веселым и загадочным, послушным и независимым.

Бабушка со своими сластями оставалась с нами всего месяц, но для меня этого было вполне достаточно. Благодаря ей я узнала, что такое удовольствие, и это помогло мне стать обычным ребенком. Мои родители вздохнули с облегчением: два года у них жил овощ, еще полгода — дикий звереныш, и вот наконец-то они получили более

или менее нормальное дитя. Меня начали называть по имени.

По известному выражению, мне пришлось наверстывать «утраченное время» (сама я не считала его утраченным): в два с половиной года человеческому детенышу положено ходить и говорить. Как и все дети, я первым делом научилась ходить. В этом не было ничего хитроумного: подняться с четверенек и — чтобы не завалиться вперед — твердо опереться на одну ногу и тут же, на манер танцевального па, подтянуть к ней вторую.

Научиться ходить — это было жизненно необходимо. Когда я поднялась на ноги, передо мной развернулось гораздо более широкое поле для обозрения. Ну а начав ходить, я очень скоро научилась и бегать. Вот это было здорово! Какие возможности открылись теперь передо мной! Можно было схватить потихоньку запрещенную вещь и удрать, пока никто не заметил пропажи. Когда умеешь бегать, можно сколько угодно шалить, увиливая при этом от наказаний. А кто бегает лучше всех? Бандиты с большой дороги да герои всех фильмов и книжек.

Пора было и заговорить, но тут передо мной возникла этическая проблема: какое слово про-

изнести первым? Я предпочла бы произнести самые нужные мне слова: «засахаренный каштан» и «пи-пи», можно было удивить родителей и такими словечками, как «шина» или «скотч», но приходилось щадить их самолюбие. Ведь родители отличаются редкой чувствительностью. Чтобы не внушать им комплекса неполноценности, не стоило сворачивать с традиционного пути. Я не хотела выделяться.

Поэтому я напустила на себя глупо торжественный вид и озвучила слова, которые уже давно сидели в моей голове:

— Мама!

Мать пришла в неописуемый восторг. Поскольку мне не хотелось никого обижать, я тут же выпалила:

— Папа!

Отец был растроган до слез.

Родители бросились ко мне с объятиями и поцелуями. Я решила: с ними вполне можно ладить. Думаю, они были бы куда менее рады, если бы в качестве первых слов я произнесла: «Откуда взялись эти змеи, что шипят на ваших головах?» — или: «$E = mc^2$». Это вызвало бы у них настоящий шок. Они даже засомневались бы, что они — это они и что их зовут Мама и Папа. Им явно хоте-

лось, чтобы я это подтвердила. Что я и сделала.

Я была рада, что выбрала эти слова: зачем усложнять жизнь? Было ясно, что родителей разочаровало бы любое первое слово, кроме «мамы» и «папы». Выполнив долг вежливости, можно было посвятить себя искусству и философии. Мне было крайне трудно решить, какое же слово произнести следующим, так как меня занимали только общие категории. Меня опьяняла свобода открывавшегося передо мной выбора, и я очень долго тянула, прежде чем произнести свое третье слово. Родителей это даже умиляло: «Самое главное для нее было научиться говорить «мама» и «папа». Остальное для нее не важно».

Они не подозревали, что мысленно я разговариваю уже давным-давно. Но одно дело — говорить про себя, а другое дело — вслух: озвученное слово обретает чрезвычайную значимость. Стоит произнести какое-нибудь слово, и чувствуешь, как оно трепещет, откликаясь на этот знак благодарности, вежливого привета или восхищения. Произнося слово «банан», выказываешь почтение всем бананам, которые когда-либо созревали на пальмах.

Тут было о чем подумать. Какое же слово выбрать третьим? Несколько недель я предавалась

интеллектуальным поискам. На фотографиях той поры я выгляжу до смешного серьезной. Словно меня непрестанно мучили сомнения экзистенциального толка: «Туфли? Нет, это не самое важное слово, можно ходить и босиком. Бумага? Но бумага без карандаша — ничто. Что же важнее? Бумага или карандаш? Шоколад? Нет, это моя тайна. Может быть, морской лев? Да, это замечательный зверь. Мне нравится, как он кричит. Но чем он лучше волчка? Разве он умеет так кружиться, как волчок? Зато морской лев — живой! Что же выбрать? Вращающийся волчок? Или живого морского льва?» Мучаясь подобными сомнениями, я даже забывала о еде. «Может быть, гармошка? Играет она, конечно, замечательно, но разве это самая нужная вещь? Очки? Они очень смешные, но какая от них польза? Ксилофон?..»

Однажды мать пришла в гостиную с какой-то зверюгой — у нее была длинная шея и еще более длинный и тонкий хвост, который мама воткнула в розетку. Мама нажала на кнопку, и зверь жалобно завыл. Мама не выпускала его из рук, а он принялся елозить мордой по полу. Иногда зверь опускался на лапы, вернее, на колесики.

Я и раньше видела пылесос, но как-то не заду-

мывалась о его предназначении. Я подобралась поближе и присела на корточки, чтобы быть с ним одного роста: я уже успела заметить, что любой предмет гораздо удобнее рассматривать, если он находится прямо перед глазами. Я следила за каждым его движением и прижалась щекой к ковру, чтобы подглядеть, что же он выделывает. И я увидела чудо: аппарат заглатывал попадавшиеся ему на пути материальные частицы, и они бесследно исчезали.

Нечто он обращал в ничто: это было деяние, достойное Бога.

У меня сохранились довольно смутные воспоминания о совсем еще недавней поре, когда я сама была Богом. Временами в моей голове вдруг раздавался голос, напоминавший мне о той невразумительной полосе моей жизни: «Ты что, забыла? Это я! Ну-ка вспомни! Я живу в тебе!» Я не знала, как это понимать, но мое существование в роли Бога представлялось мне вполне правдоподобным и даже приятным.

И вот я встретила своего собрата: пылесос. Ну разве это не божественное деяние: нечто обращать в ничто? Кому это может быть подвластно, кроме Бога? Напрасно я думала, что Бог есть Бог и ему ни к чему доказывать свое всесилие. Вот

если бы я могла совершать подобные сверхъестественные чудеса!

«Anch'io sono pittore!»[2] — воскликнул Корреджо, увидев полотна Рафаэля. Я пришла в такое возбуждение, что готова была воскликнуть: «Я тоже пылесос!»

Я уже было открыла рот, но вовремя спохватилась: не стоит опережать события — мой словарный запас насчитывал всего два слова, и будет странно, если я вдруг заговорю целыми фразами.

Но теперь я твердо знала, какое слово произнесу третьим.

Не медля ни секунды, я открыла рот и выговорила по слогам:

— Пы-ле-сос!

Мать замерла от удивления. Затем она выпустила шланг из рук и побежала звонить отцу:

— Она сказала третье слово!

— Какое?

— Пылесос!

— Превосходно! Она будет замечательной хозяйкой!

Я думаю, он был немного разочарован.

---

[2] Примечания: 2
Я тоже художник! *(ит.)*

Выбирая третье слово, я явно перестаралась. Не буду так мучиться из-за четвертого. Поскольку я ничего не имела против моей сестренки, которая была старше меня на два с половиной года, я выбрала ее имя.

— Жюльетта! — громко крикнула я, глядя ей прямо в глаза.

Человеческая речь обладает безграничной властью: стоило мне произнести имя моей сестры, как мы тут же страстно возлюбили друг друга. Моя сестренка заключила меня в объятия и крепко прижала к себе. Слово — как приворотное зелье. Оно соединило нас навсегда, как Тристана и Изольду.

Теперь предстояло выбрать пятое слово. Только не имя брата, который был старше меня на четыре года! Ни за что на свете не сделаю такого подарка этому несносному мальчишке, который каждый день читает у меня над ухом какого-то «Тентена»[3]. Он обожал меня дразнить. Вот возьму и в наказание вообще не буду называть его по имени. Нет имени, нет и брата.

Еще с нами жила Нисио-сан, моя японская ня-

---

[3] Примечания: 3

«Тентен» — серия комиксов, популярная в странах франкофонной Европы. Ее автор — бельгийский писатель и художник Ж.-Р. Эрже (1907–1983).

нюшка. Она была сама доброта и лелеяла меня, как цветок. Говорила она только по-японски, но я понимала каждое ее слово. Поэтому мое пятое слово было японским — я выбрала ее имя.

Итак, я одарила именами уже четырех человек. И стоило мне обратиться к кому-нибудь из них по имени, как они расцветали от счастья. Теперь я понимала, как много значит слово. И как много значит имя: благодаря ему люди верят, что они существуют. Как будто они в этом сомневались. И нуждались в том, чтобы я им это подтвердила.

Так что же, разговаривать — это значит дарить жизнь? Вовсе не обязательно. Люди вокруг меня говорили с утра до вечера, но далеко не каждый разговор получал чудодейственное продолжение. Вот, к примеру, о чем беседовали мои родители:

— Я пригласил Трюков на двадцать шестое.

— Кто это такие Трюки?

— Да что с тобой, Даниэль? Ты же их прекрасно знаешь. Мы раз двадцать встречались с ними на разных обедах.

— Не помню. Что это за Трюки?

— Вспомнишь, когда придут.

Мне казалось, что после такого разговора эти пресловутые Трюки не станут реальнее, чем до него. Скорее наоборот.

А вот как протекали диалоги брата с сестрой:

— Где моя коробка с конструктором?

— Не знаю.

— Врешь! Это ты ее взяла!

— Не я!

— Ты скажешь или нет, куда ты ее задевала?

После чего начиналась драка. Разговор в данном случае служил прелюдией к потасовке. Когда со мной разговаривала нежнейшая Нисио-сан, то она, с тихим японским смешком, рассказывала мне о том, как ее младшую сестренку раздавил поезд, следовавший из Кобе в Нисиномийа. Каждый раз, когда она рассказывала мне эту историю, слова моей доброй нянюшки убивали маленькую девочку. Получалось, что разговаривать — это значит и убивать.

Вслушиваясь и вдумываясь в чужой язык, я пришла к заключению, что говорить — это одновременно создавать и разрушать. И с этим человеческим изобретением нужно быть поосторожнее.

Впрочем, я заметила, что есть и вполне безобидные слова: «Хорошая погода, не правда ли?» — или: «Дорогая, как вы хорошо выглядите!» В таких фразах нет ничего метафизического. Их можно произносить сколько угодно и без всякой

опаски. Можно и вовсе не произносить. От этого ничего не изменится. Скорее всего, с помощью таких фраз собеседника предупреждают, что его не собираются убивать. Это вроде водяного пистолета моего брата. Когда он стреляет в меня из него и кричит: «Пах! Ты убита!», я становлюсь вся мокрая, но все же не умираю. Да, наверное, к таким фразам прибегают, чтобы предупредить: оружие заряжено холостыми патронами.

Вполне понятно, что моим шестым словом стала «смерть», что и требовалось доказать.

В доме стояла непривычная тишина. Мне захотелось узнать, почему это у нас вдруг так тихо, и я спустилась по главной лестнице. В гостиной я увидела отца — он плакал. Я не поверила своим глазам. Это был единственный раз в жизни, когда я видела отца плачущим. Мама обнимала и утешала его, как большого ребенка.

Она сказала мне шепотом:

— У нашего папы нет больше мамы. Твоя бабушка умерла.

Я сделала страшные глаза.

— Ты, конечно, еще не знаешь, что такое смерть. Ведь тебе всего два с половиной года.

— Смерть, — произнесла я твердым голосом и удалилась.

Смерть! Почему же я не знаю, что это такое! Меня словно упрекали, что в мои два с половиной года я еще так далеко от нее! Смерть! Да кто же лучше меня знает, что это такое? Я только-только начала забывать, что такое смерть! Ведь моя жизнь началась намного позже, чем у других детей. Неужели все забыли, что я два года прожила в коме, если только это можно называть жизнью? Неужели никто не задумывался над тем, что, когда я бесконечно долго и неподвижно лежала в колыбельке, я не жила, а умирала, и вместе со мной умирало и время, и моя жизнь, и мои чувства, и мое настоящее, и мое будущее, и все, все, все?

Я слишком хорошо знала, что такое смерть. Смерть — это потолок. Если потолок знаешь лучше, чем саму себя, — это смерть. Потолок, что застилает глаза и не позволяет мыслям улететь ввысь. Потолок — это крышка гроба. Когда приходит смерть, вашу черепную кастрюльку прикрывают огромной крышкой. Со мной это случилось не в конце, а в начале жизни, и, несмотря на младенческий возраст, я все же сохранила об этом смутные воспоминания.

Когда поезд из туннеля метро вырывается на воздух, когда раздвигается черный занавес, или

заканчивается приступ удушья, или после долгой разлуки смотришь в любимые глаза — крышка смерти приподнимается, и темный погребок, в котором томится наш мозг, распахивается навстречу небу.

Кому довелось встретиться со смертью лицом к лицу и ускользнуть из ее объятий, уже никогда не расстанется со своей Евридикой: он знает, что несет на себе ее печать, и не желает больше заглядывать ей в лицо. Смерть — как черная дыра, как комната с зашторенными окнами, как беспросветное одиночество — страшит и одновременно манит сладостной надеждой на успокоение. Не сопротивляйся, поддайся этому соблазну, и тебя ждет вечный покой и вечный сон. Евридика заманивает нас столь искусно, что порой мы забываем, почему должны сопротивляться ее чарам.

Но сопротивляться нужно, необходимо, потому что билет у нас только в одну сторону. А иначе не стоило бы и трудиться.

Я сижу на лестнице и думаю о бабушке с белым шоколадом. Ведь это она помогла мне освободиться от смерти. И вот прошло так мало времени, и наступил ее черед. Словно произошла какая-то мена. Получается, что своей жизнью она запла-

тила за мою. Догадывалась ли она об этом?

Но раз она живет в моей памяти, значит, существует. Бабушка освободила мою память от сковывавшего ее панциря. И я плачу ей тем же: в моей памяти она по-прежнему живая, вместе со своим шоколадом, который она держит как скипетр. Только так я могу отблагодарить ее за то, что она сделала для меня.

Я не плакала. Я поднялась в комнату и начала крутить волчок — самую лучшую игрушку в мире. Свой пластиковый волчок я не променяла бы на все богатства мира.

Час за часом я крутила этот волчок, наблюдая за его вращением. И это вечное вращение настраивало меня на философский лад.

Да, я знала, что такое смерть. Однако мне хотелось узнать о ней побольше. Меня мучило множество вопросов. Но официально я владела лишь шестью словами. Среди них — ни одного глагола, ни одного союза, ни одного прилагательного. Как же задавать вопросы, обладая таким ничтожным лексиконом? На самом деле в моей голове роилось множество самых разных слов — но каким образом от шести слов сразу перейти к тысяче и не выдать при этом тайные кладовые моих знаний? По счастью, у меня была Нисио-сан.

Она говорила только по-японски, и моей матери было трудно с ней общаться. Но я могла потихоньку говорить с ней на ее языке.

— Нисио-сан, почему люди умирают?

— Так ты умеешь разговаривать?

— Никому об этом не говори. Это секрет.

— Твои родители обрадуются, когда узнают, что ты говоришь.

— Я решила сделать им сюрприз. Почему люди умирают?

— Потому что Бог этого хочет.

— Ты в это веришь?

— Не знаю. На моих глазах столько людей умерло: сестру раздавил поезд, родители погибли под бомбежкой во время войны. Не знаю, зачем это понадобилось Богу.

— Тогда почему же умирают?

— Ты говоришь о своей бабушке? Но старые люди всегда умирают.

— Почему?

— Когда человек долго живет на свете, он устает. Для стариков умереть — все равно что лечь спать. Для них это как отдых.

— А если умирают молодые?

— Сама не знаю, почему такое случается. Ты все понимаешь, что я говорю?

— Да.

— Так ты по-японски заговорила раньше, чем по-французски?

— А разве это не одно и то же?

Я еще не понимала, что есть разные языки. В моем представлении существовал единый и многообразный язык, говоря на котором можно по собственному усмотрению вставлять то японские, то французские слова. И мне пока еще не доводилось слышать языка, который бы я не понимала.

— Если бы это было одно и то же, почему я не говорю по-французски?

— Не знаю. Расскажи мне о бомбежке.

— Ты уверена, что хочешь этого?

— Да.

И она начала рассказывать свою кошмарную историю. В 1945 году ей было семь лет. Однажды утром бомбы посыпались с неба, как дождь. Кобе бомбили и раньше, но в то утро Нисио-сан почувствовала, что добрались и до ее семьи. Она лежала на татами и надеялась, что ей удастся заснуть и смерть настигнет ее во время сна. Тут рядом с ней раздался страшный взрыв, и девочка решила, что ее разорвало на тысячу кусков.

Очнувшись, она стала ощупывать себя, чтобы

убедиться, целы ли у нее руки и ноги, но почувствовала, что ей что-то мешает. Она не сразу поняла, что ее завалило землей и обломками дома.

Изо всех сил она принялась разгребать землю руками, надеясь выбраться наверх, но совсем не была уверена, что роет в нужном направлении. Вдруг она наткнулась в земле на чью-то руку. Она не знала, чья это рука и где остальное тело, но почувствовала, что рука — мертвая.

И еще она поняла, что роет не в ту сторону. Она перестала рыть и прислушалась. «Нужно двигаться на шум — там жизнь». Она услышала крики и принялась рыть в этом направлении. И рыла, рыла, как крот.

— А как же ты дышала? — спросила я.

— Сама не знаю. Как-то дышала. Ведь есть же зверьки, которые живут под землей и дышат. Воздух проникал туда, конечно, с трудом, но все же проникал. Рассказывать дальше?

Еще бы! Я слушала ее, открыв рот.

В конце концов Нисио-сан выбралась из завала. «Там жизнь», — подсказывал ей инстинкт. Но он обманул ее. Наверху царила смерть. Разрушенные дома и разорванные на части человеческие тела. Среди руин и трупов девочка увидела голо-

ву своего отца, но тут раздался новый взрыв, и ее опять засыпало землей и обломками.

Она лежала в своем земляном склепе и не знала, что делать — опять выбираться на поверхность или оставаться под завалом: «Здесь мне ничто не угрожало, и я не видела тех ужасов, что остались наверху». Но спустя некоторое время она начала задыхаться. И снова начала прорываться на шум, с ужасом думая о том, какая кошмарная картина ждет ее там, наверху. Но едва она вылезла наружу, как новый взрыв загнал ее на четыре метра под землю.

— Не знаю, сколько раз я вот так выбиралась из-под завала, а потом рядом падала бомба, и меня опять засыпало землей. Я уже не понимала, зачем я всякий раз стараюсь выкарабкаться наверх, но это было сильнее меня. Я уже знала, что отец мой убит, а дом разрушен. Но я ничего не знала о матери и братьях. Когда бомбы перестали падать, я с удивлением осознала, что все еще жива. Падая и спотыкаясь, я брела по трупам и разметанным в разные стороны человеческим останкам, пытаясь разыскать свою мать и братьев. Я завидовала сестренке, которую два года назад раздавил поезд: по крайней мере, она не видит того, что выпало увидеть мне.

Нисио-сан рассказывала мне множество захватывающих историй, и все они заканчивались тем, что людей в них разрывали на куски.

Поскольку я ни на минуту не отпускала от себя Нисио-сан, родители решили нанять вторую гувернантку, чтобы она помогала им по дому. Они расклеили объявления по всей деревне Сюкугава и стали ждать.

На объявление откликнулась лишь одна-единственная дама.

Так Касима-сан стала нашей второй гувернанткой. Это была полная противоположность моей молодой и нежной нянюшке. Нисио-сан не была красавицей и происходила из бедной семьи. Касиме-сан было пятьдесят лет, она отличалась утонченной красотой и чрезвычайно гордилась своим аристократическим происхождением. Эта красавица дворянка относилась к нам с нескрываемым презрением. Она принадлежала к старинному роду японской знати, который с приходом в 1945 году американцев утратил свое могущество. За первые тридцать лет своей жизни Касима-сан привыкла к роли аристократки, но из-за американцев она разом лишилась высокого положения в обществе и богатства.

Теперь ей приходилось подрабатывать в ка-

честве служанки. Именно в этом качестве ее и наняли мои родители. Она ненавидела всех белых, обвиняя их в своем крушении. Ее утонченная красота и аристократическая худоба внушали почтение. И мои родители обращались к ней самым почтительным тоном, как к великосветской даме. Однако она не опускалась до разговоров с ними и всячески увиливала от работы. Когда моя мать просила Касиму-сан помочь ей по хозяйству, та скорбно вздыхала и смотрела на нее с укором, словно говоря: «За кого вы меня принимаете?»

А с моей нянюшкой новая гувернантка обходилась как с собакой. Она презирала Нисио-сан не только за ее низкое происхождение, она обвиняла ее в предательстве — за примирение с врагами. Всю свою работу она перекладывала на Нисио-сан, которая из врожденного инстинкта послушания не осмеливалась возражать этой благородной госпоже. К тому же эта дама по любому поводу безжалостно пилила мою добрую нянюшку:

— Почему ты так почтительно разговариваешь с этими людьми?

— Как они со мной разговаривают, так и я с ними разговариваю.

— У тебя нет ни малейшего понятия о чести. Те-

бе мало, что они унизили нас в тысяча девятьсот сорок пятом году?

— Это были не они.

— Какая разница! Эти люди были союзниками американцев.

— Во время войны они были еще совсем детьми, как и я.

— Ну и что? Их родители были нашими врагами. Кошка собаке не товарищ.

— Не следует говорить такое при ребенке, — кивает Нисио-сан в мою сторону.

— При этой малявке?

— Она все понимает.

— Тем лучше.

— А я люблю эту малышку.

Она говорила правду: она любила меня не меньше, чем своих десятилетних дочек-двойняшек, которых никогда не называла по имени, потому что не отличала друг от друга. Она называла их *футаго*, и я долгое время полагала, что так зовут одну из девочек: множественное число в японском языке обозначается не всегда четко. Как-то девочки пришли к нам в дом, и Нисио-сан издалека окликнула их: «Футаго!» Они бросились к ней одновременно, как сиамские близнецы, и только тут я поняла значение этого слова. Кто

знает, может, с близнецами в Японии дело обстоит сложнее, чем в других странах.

Я очень скоро усвоила, что мой детский возраст возводит меня в особый статус. В Стране восходящего солнца ребенок с момента рождения и до детского сада — это маленький божок. И, следуя этой традиции, Нисио-сан обращалась со мной как с божеством. Мои брат, сестра и ее дочки-двойняшки уже переросли священный возраст и не заслуживали особого почитания. А я была *окосама*: сей почетный титул означает «Его Величество Дитя».

Когда я по утрам заглядывала на кухню, Нисио-сан не знала, как мне угодить. Она мне ни в чем не отказывала. Если мне хотелось попробовать, что она ест на завтрак, а это случалось довольно часто, она уже не притрагивалась к своей тарелке, видя, что японские блюда нравятся мне больше, чем мой детский рацион. Она терпеливо ждала, когда я удовлетворю свое любопытство и аппетит, и снова придвигала к себе тарелку, только если я великодушно оставляла ей кое-какие крохи.

Как-то в полдень, во время второго завтрака, мама заметила, как Нисио-сан ублажает мои капризы. Меня она строго отчитала, а Нисио-сан

посоветовала не подчиняться моей тирании. Напрасный труд. Как только дверь за мамой закрылась, я тут же снова пристроилась к тарелке моей нянюшки. Разве можно было сравнить приготовленную для меня отварную морковку с волоконцами мяса и окономьяки (блинчики с капустой, креветками и имбирем) и рис с цукемоно (хреном, выдержанном в шафрановом маринаде)!

Каждая трапеза у меня делилась на две: сначала я вместе со всеми ела в столовой, а затем — на кухне. В столовой я едва прикасалась к подаваемым мне блюдам, оставляя место для кухонных угощений. Мне нетрудно было выбрать, с кем мне лучше: с родителями, которые обращались со мной как с другими детьми, или с моей нянюшкой, которая боготворила меня.

И я решила стать японкой.

Я и в самом деле росла японкой. В два с половиной года быть японкой в провинции Кансай — это значит жить среди неземной красоты и обожания. Быть японкой — значит наслаждаться пьянящим благоуханием сада, омытого дождем, сидеть на каменной кромке пруда и любоваться горной грядой, устремленной к небу, как и мое переполненное восторгом сердечко, и внимать

тягучей песне торговца сладкими пататами, что бредет по улице перед закатом солнца.

Быть японкой в два с половиной года — значит быть любимицей Нисио-сан. Стоило мне подойти к ней, как она бросала все дела, чтобы обнять меня, приласкать и спеть песенку о котятах или цветущих вишнях.

В любую минуту она готова была рассказывать мне леденившие кровь страшные истории о разорванных на куски людях или сказки о злой колдунье, что варила суп из своих пленников. Я обожала слушать эти жуткие истории.

Она садилась, укладывала меня на колени и баюкала, как куклу. Я жаждала ласки и утешения, а потому притворялась, что у меня что-то болит: Нисио-сан охотно включалась в игру и долго жалела и утешала меня, делая вид, что верит моим мнимым бедам.

Она ласково водила пальцем по моему лицу, восхваляя необыкновенную, как она говорила, красоту своей воспитанницы: она восторгалась моими губами, лбом, щеками, глазами и уверяла, что никогда еще не видела такой прелестной богини. Моя нянюшка была сама доброта.

Я могла бы всю жизнь нежиться в объятиях Нисио-сан, наслаждаясь ее обожанием. А она с

удовольствием пела мне дифирамбы, убеждая меня в моем божественном предназначении.

Нужно было быть просто дурочкой, чтобы в два с половиной года не стать японкой.

Не случайно по-японски я заговорила раньше, чем на своем родном языке: культ, которым была окружена моя персона, требовал от меня ответных лингвистических усилий. Ведь я должна была общаться с обожавшими меня подданными. Их было не так уж много, но их благоговейного почитания вполне хватало, чтобы до краев заполнить мой жизненный мирок: это были Нисио-сан, ее дочки-близняшки и уличные прохожие.

Когда я прогуливалась по улице, держась за руку своей главной жрицы, я свято верила, что все ротозеи должны приветствовать меня громкими криками восторга. Однако нигде я так не наслаждалась своим всевластием, как в саду, — это был мой храм.

Да, здесь, на этом кусочке земли, засаженном цветами и деревьями и со всех сторон окруженном каменной стеной, мне было сладостнее всего.

Сад возле нашего дома был японским. То есть это было само совершенство. Хотя и не в стиле дзен. Однако выложенный камнем пруд и с

изысканным вкусом подобранные насаждения замечательно отражали традиции страны, в которой как нигде с поистине религиозным преклонением извечно воспевают красоту сада.

Сад был моим царством — здесь вера в мое божественное предназначение достигала наивысшей концентрации. За высокими стенами сада, крытыми японской черепицей, я пряталась от прочего люда и чувствовала себя как в святилище.

Когда Богу требуется место, символизирующее земной рай, он выбирает не уединенный остров, не морской берег с золотым песком, не альпийский луг или поле спелой пшеницы. Он выбирает сад.

И я с ним полностью согласна: лучшего места не найти. Я чувствовала себя здесь самой настоящей императрицей, и мои подданные — растения по моему приказу послушно расцветали, стоило мне только на них посмотреть. Это была первая весна моей жизни, и я еще не знала, что юношеская пора расцвета сменится апогеем, а затем и увяданием.

Вечером, заметив набухший бутон, я приказывала ему: «Распускайся!» И к утру этот бутон превращался в дивно-прекрасный белоснежный

мак. Могла ли я сомневаться в своей власти? Я рассказывала об этих чудесах Нисио-сан, и она соглашалась: да, ты все можешь.

С того дня, как моя память проснулась, а это произошло в феврале, мир вокруг меня непрестанно расцветал. Словно сама природа приветствовала мое пришествие. С каждым днем сад становился все роскошней и роскошней. На смену каждому увядшему цветку рядом расцветал новый, еще более прекрасный.

Как должны благодарить меня люди! Какой печальной была их жизнь до моего рождения! Это я принесла им все эти чудеса! Так что же удивительного в том, что они обожают меня?

И только один человек упорно отказывался поклоняться мне: это была Касима-сан.

Она не верила в меня. Это была единственная японка, которая не желала признавать новую религию. Она меня не выносила. Авторы учебников по грамматике наивно полагают, что исключения подтверждают правило: в моем случае все обстояло не так, и меня крайне тревожило исключение в лице Касимы-сан.

Когда после завтрака или обеда я забиралась на кухню, чтобы отдать дань японской кулинарии, Касима-сан не позволяла мне угощаться из ее

тарелки. Однажды, возмущенная ее дерзостью, я без разрешения сунула руку к ней в тарелку, чтобы попробовать, что она ест. И — заработала оплеуху.

Потрясенная жестокостью нашей домашней аристократки, я бросилась за утешением к Нисио-сан. Жалуясь ей на эту нечестивицу, я надеялась, что она строго накажет ее.

— Разве так можно? — возмущенно спросила я.

— Это же Касима-сан. Да, она такая.

Я долго раздумывала, смогу ли я примириться с таким ответом. Значит, только потому, что «она такая», ей дозволено меня бить? Нет, смириться с этим я не могла. Раз она не желает поклоняться моему величеству, я покараю ее за это.

Я приказала, чтобы ее сад увял. Но она и бровью не повела. Мне стало ясно, что к красотам ботаники она совершенно равнодушна. Позже я узнаю, что у нее не было никакого сада.

Тогда я решила сменить гнев на милость и пустила в ход все свои чары, чтобы пленить эту надменную дворянку. Прохаживаясь у нее под носом, я с любезной улыбкой великодушно протягивала ей руку, как Господь Бог протягивает руку Адаму на куполе Сикстинской капеллы, но она отворачивалась.

Касима-сан не желала признавать меня. Она меня отрицала. Подобно тому, как был Антихрист, она была Анти-Я.

Я прониклась к ней безграничной жалостью. Как должно быть грустно не любить меня, как все! Это же издалека видно: Нисио-сан и прочие мои верноподданные прямо-таки сияют от счастья. Они обожают меня, и живется им от этого гораздо веселее, чем Касиме-сан.

Она не позволяет себе любить меня: это видно по ее лицу, прекрасному, но суровому и презрительному. Я разглядывала ее со всех сторон, стараясь понять, почему же она не хочет поклоняться мне. Мне и в голову не могло прийти, что причина не в ней, а во мне: я не сомневалась, что на свете нет никого краше меня. И если наша служанка-аристократка не любит меня, значит, с ней что-то не в порядке.

Наблюдая за Касимой-сан, я наконец поняла, чем она больна. Она страдала болезнью самоограничения. Всякий раз, когда выпадал случай посмеяться, порадоваться или от души повеселиться, губы нашей дворянки крепко сжимались: она держала себя в ежовых рукавицах. Словно даже самые невинные жизненные удовольствия были недостойны ее сана. И малейшая радость

означала бы чуть ли не самоотречение.

Я провела несколько научных опытов. Я подарила Касиме-сан наипрекраснейшую камею из сада, подчеркнув, что сорвала ее ради нее. В ответ: поджатые губы и сухое «мерси». Я попросила Нисио-сан приготовить для Касимы-сан ее любимое блюдо — божественное кушанье из сырой рыбы, к которому она едва притронулась и забыла поблагодарить. Увидев как-то в небе радугу, я бросилась к Касиме-сан и позвала ее полюбоваться вместе со мной: она лишь пожала плечами.

Но я не сдавалась и решила удивить эту гордую дворянку зрелищем, достойным ее внимания. Я нарядилась в подаренное мне Нисио-сан маленькое кимоно из розового шелка, расшитое кувшинками, повязала широкий пояс-оби, надела лакированные гэта и не забыла прихватить бумажный зонтик пурпурного цвета с белыми журавлями. Я намазала губы маминой помадой и подошла к зеркалу: на меня смотрела настоящая красавица. Когда я явлюсь миру, никто не сможет устоять передо мной.

Для начала я решила показаться самым верным подданным, которые встретили меня восторженными криками и дружно выразили мне

свое восхищение — ничего другого я и не ожидала. Затем полюбоваться на свое великолепие я позволила саду: порхая, как яркая бабочка, я вприпрыжку станцевала там свой танец радости. По дороге я сорвала огромный мак и воткнула его в волосы вроде алого венца.

Разряженная таким манером, я предстала пред очами Касимы-сан. Но она даже не взглянула на меня.

Это только подтвердило мой диагноз: она больна. Иначе как можно было удержаться от восторга при виде такой красоты? И точно так же, как Бог прощает грешников, я решила проявить милостивое снисхождение и отпустить ей все ее грехи. Бедная Касима-сан!

Если бы я тогда умела молиться, я обязательно помолилась бы за нее. Я отчаялась обратить эту строптивицу в свою религию, и это поколебало мою веру в собственное всевластие.

Я поняла, что отнюдь не всесильна.

У моего отца был друг-вьетнамец, женатый на француженке. Это был деловой человек, которому в 1970 году по вполне понятным причинам — если вспомним, что тогда происходило во Вьетнаме, — пришлось вместе с женой срочно вылететь на родину. Шестилетнего сына, учиты-

вая все трудности предстоящего путешествия, они решили с собой не брать и оставили его моим родителям на неопределенный срок.

Юго был мальчиком спокойным и воспитанным. И поначалу он мне нравился. Но затем он перешел в стан врага — моего брата, и мальчишки стали неразлучными друзьями. В наказание я решила не называть Юго по имени.

По-французски я по-прежнему обходилась всего несколькими словами. Но пора было осваивать и французский. Мне было невтерпеж научиться выговаривать такие важные вещи, как, например: «Юго и Андре — зеленые какашки». Увы, я чувствовала, что еще не готова произносить столь глубокомысленные фразы. Меня это ужасно злило: ведь мальчишки не теряют времени зря и каждый день замышляют всё новые каверзы.

Иногда я раздумывала: а почему я, собственно, скрываю от родителей свой истинный словарный запас и лишаю себя возможности влиять на происходящее? Сама того не сознавая, я вела себя как настоящий ребенок и смутно догадывалась, что, начав говорить, утрачу определенные привилегии и снисходительное всепрощение, которыми пользуются, скажем, хироманты или умственные инвалиды.

Апрель на юге Японии отличается изумительной мягкостью и теплотой. И родители повезли всех нас на море. Я уже знала, что такое океан, я видела его в бухте Осаки, где вода была чудовищно грязной, и купаться в такой воде было все равно что купаться в сточной канаве. Мы отправились в противоположном направлении, в Тоттори, где я открыла для себя настоящее Японское море, которое полонило меня своей красотой. Этому морю японцы приписывают мужское начало, а океану — женское. Меня по сей день озадачивает подобное разделение.

Пляж в Тоттори был бескрайним — настоящая пустыня. И чтобы подойти к воде, нужно было пересечь эту Сахару. А море было пугливым, как и я. Словно робкое дитя, оно то приближалось ко мне, то отступало назад. И я делала то же самое.

Все мои близкие уже плескались в воде. Мама звала меня, но я не отваживалась сделать решительный шаг, хотя на мне был надет спасательный круг. Море страшило и влекло меня к себе. Подошла мама, взяла меня за руку и повела вперед. И вдруг я перестала чувствовать земное притяжение. Морская стихия подхватила и понесла меня. Я завизжала от радости и восторга. Громоздкая и величественная, как Сатурн, я

несколько часов барахталась в воде, и вытащить меня на берег смогли только силой.

— Море!

Это было мое седьмое слово.

Вскоре я уже научилась обходиться без резинового круга. Я изо всех сил болтала в воде руками и ногами и, подобно щенку, держалась на поверхности. Когда я уставала, я нащупывала дно и вставала на ноги.

Однажды случилось чудо: войдя в воду, я зашагала навстречу горизонту, в сторону Кореи, и море с каждым шагом почему-то не становилось глубже. Словно дно его ради меня поднялось вверх. Христос шел по водам, а я заставила подняться морское дно. Каждому — свои чудеса. Я была в восторге и решила шагать так до противоположного берега.

Я двигалась в неведомую даль, ступая по нежному песчаному ковру. Я шла и шла вперед, наслаждаясь своим могуществом, и гигантскими шагами удалялась от Японии.

Я шла, шла и вдруг — упала. Песчаный ковер из нанесенного песка оборвался. И я уже не чувствовала под собой дна. Вода проглотила меня. Я судорожно молотила руками и ногами, чтобы удержаться на поверхности, но стоило мне при-

поднять голову над водой, как меня накрывала волна и снова затягивала под воду, словно море нарочно пытало меня, стараясь вырвать какое-то признание.

Я поняла, что тону. Когда моя голова хоть на миг вырывалась из воды, я в бесконечной дали видела пляж, мирно дремавших родителей и пляжную публику, которая спокойно наблюдала за моей погибелью, следуя древнему японскому принципу: никогда и никому не спасать жизнь, чтобы не обременять человека непомерной признательностью за это спасение.

Не знаю, что ужасало меня больше: предчувствие своего конца или эта публика, равнодушно созерцавшая, как я тону.

Я крикнула:

— Тасукэтэ!

Никто даже не пошевелился.

Тогда я решила, что хватит стесняться французского языка, и выкрикнула то же самое по-французски:

— Спасите!

Возможно, именно этого и добивалось от меня море — чтобы я заговорила на языке своих родителей. Но увы! Они меня не услышали. А японские зрители столь ревниво следовали своей

традиции невмешательства, что не сочли нужным хотя бы позвать моих близких. И я смотрела на них, а они внимательно смотрели, как меня затягивает под воду.

Вскоре я так устала, что уже не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. И я сдалась. Тело мое пошло ко дну. Я сознавала, что это последние минуты моей жизни, и мне не хотелось их упустить: я набралась храбрости и открыла глаза — увиденное поразило меня своей волшебной красотой. И сказочно прекрасен был солнечный свет, который пронизывал морскую глубь. А колебание, производимое волнами, множило его сверкающие блики.

Я забыла, что боюсь смерти. Мне чудилось, что я уже долгие часы любуюсь этой подводной феерией.

И тут чьи-то руки подхватили меня и вытащили из воды. Выбравшись на воздух, я судорожно вздохнула и посмотрела, кто же мой спаситель: это была моя мать, и она плакала. Крепко прижав меня к груди, она отнесла меня на берег.

Она закутала меня в полотенце и сильно растерла. Из меня вылилось много воды. Мама обняла меня и стала укачивать. У нее все еще текли слезы, но она рассказала, как меня спасли:

— Это Юго спас тебе жизнь. Он играл с Андре и Жюльеттой и вдруг заметил, как твоя голова ушла под воду. Он бросился ко мне и показал, где тебя видел. Если бы не он, ты бы погибла!

Я взглянула на маленького евразийца и торжественно произнесла:

— Спасибо, Юго. Ты хороший мальчик.

Все ахнули от удивления.

— Она говорит! Она говорит как императрица! — ликовал мой отец, которого затрясло от смеха.

— Я уже давно говорю, — сказала я, пожав плечами.

Вода добилась от меня чего хотела: я созналась.

Вытянувшись на песке рядом с сестрой, я размышляла: стоит ли радоваться тому, что не утонула? Юго я теперь воспринимала как уравнение: не будь его, не было бы и меня. А что было бы, если бы я утонула? Понравилось бы мне это или нет? «Раз меня спасли, я этого уже не узнаю», — пришла я к логическому выводу. Конечно, я была рада, что не умерла, — по крайней мере теперь я знала, что рада этому. На песке рядом со мной — хорошенькая Жюльетта. Надо мной — пушистые облака. Передо мной — изумительное море. За

спиной — бесконечный пляж. Мир — прекрасен и жить — стоит!

Когда мы вернулись в Сюкугаву, я решила научиться плавать. Недалеко от нашего дома, в горах, было маленькое зеленое озеро, которое я так и окрестила: Маленькое Зеленое Озеро. Это был водяной рай. Живописное озерко все заросло азалиями, а вода в нем была теплой, как парное молоко.

Каждое утро Нисио-сан водила меня на Маленькое Зеленое Озеро. И я в одиночку училась здесь плавать. Опустив голову в воду, как рыба, я любовалась подводными красотами, о существовании которых узнала, когда тонула.

А когда я приподнимала голову из воды, то видела окружавшие меня лесистые склоны гор. Я чувствовала себя геометрическим центром земного рая, который с каждым днем все расширялся и расширялся.

Соприкосновение со смертельной опасностью не нарушило моей детской веры в то, что я была божеством. А кто сказал, что боги бессмертны? Или это бессмертие делает их богами? Становится ли мак менее прекрасным оттого, что завтра увянет?

Я спросила Нисио-сан, кто такой Иисус. Она ответила, что точно не знает.

— Кажется, это бог, — сказала она не очень уверенно. — И у него длинные волосы.

— Ты веришь в него?

— Нет.

— А в меня веришь?

— Да.

— А у меня тоже длинные волосы.

— Да, но тебя я знаю.

До чего же доброй была Нисио-сан! И логика у нее была железная.

Мой брат, сестра и Юго учились в американской школе, что находилась у моста Рокко. Среди школьных учебников Андре была книга под названием «Мой друг Иисус». Читать я не умела, но мне нравилось разглядывать ее картинки. В конце книги герой висит на кресте, а вокруг — толпа созерцающих его людей. Этот рисунок меня особенно взволновал. Я спросила Юго, почему Иисуса привязали к кресту.

— Чтобы его убить, — ответил он.

— Если человека привязать к кресту, это убивает?

— Да. Видишь, его прибили к кресту гвоздями. Гвозди — вот что убивает.

Объяснение показалось мне правдоподобным. И мне стало жаль этого страдальца. Выходит, Иисус умирал на глазах у целой толпы и никто не шелохнулся, чтобы его спасти! Эта картина показалась мне знакомой.

Ведь и я была в схожей ситуации, когда тонула и смотрела на людей, которые спокойно наблюдали, как я погибаю. Если бы кто-то из толпы вытащил гвозди из тела распятого, он был бы спасен. И если бы хоть одна душа догадалась вытащить меня из воды или хотя бы позвать моих родителей! В моем случае, как и с Иисусом, зрители предпочли не вмешиваться.

Вероятно, жители страны, где Иисус был распят, придерживались тех же принципов, что и японцы, и полагали, что если спасут ему жизнь, то обременят его обязанностью до последнего вздоха благодарить их за свое спасение.

Пусть лучше умирает, чем лишать его свободы.

Я и не думала оспаривать подобную точку зрения. Но я знала, как это ужасно: погибать на глазах у равнодушной толпы. Я ощущала глубочайшее родство с Иисусом и хорошо представляла себе, какой душевный протест переполнял его в те минуты.

Меня так взволновала эта история, что мне захотелось побольше узнать об Иисусе. Как я понимала, для этого мало листать книги, их необходимо читать. Я сказала, что хочу научиться читать: все дружно рассмеялись.

Раз меня не принимают всерьез, придется осваивать это дело в одиночку. Ведь научилась же я самостоятельно не менее трудным вещам: ходить, говорить, плавать, царить и крутить волчок.

Я сообразила, что начать лучше всего с «Тентена», где было много картинок. Я наугад раскрыла эту книжку и, усевшись на пол, стала ее листать. Не знаю, как это получилось, но когда я подошла к финалу, где корова выбирается из завода через трубку, из которой должны выскакивать сосиски, я заметила, что уже читаю.

Я не спешила делиться этим чудом с окружающими, которые подняли меня на смех, когда услышали о моем решении научиться читать. Апрель — это месяц, когда в Японии расцветают вишни. В тот вечер вся наша улица праздновала это событие, запивая его саке. Нисио-сан налила и мне маленький стаканчик, и я завизжала от удовольствия.

Долгие ночи напролет я лежала, прижавшись к

решетке моей кровати, и сквозь нее пристально разглядывала спавших по соседству родителей, словно готовилась посвятить им зоологическое исследование. С каждым днем это смущало их все больше и больше. В конце концов из-за моего неусыпного внимания они совсем потеряли покой. Было решено, что пора выселять меня из родительской спальни.

Меня переместили на чердак. Я ликовала.

Здесь все предстояло открывать заново: незнакомый потолок и трещины, куда более причудливые, чем потолочный рисунок в родительской спальне, который за два с половиной года мне уже порядком поднадоел. А сколько тут было интересного хлама: какие-то коробки, старая одежда, дырявый надувной бассейн, сломанные ракетки и множество других чудесных вещей.

Теперь я не спала ни одной ночи, стараясь отгадать, что спрятано в этих коробках: видимо, что-то необыкновенное! Но я не могла самостоятельно вылезти из своей зарешеченной кроватки и спуститься на пол: слишком высоко!

В конце апреля в моей жизни произошла новая потрясающая перемена: на моем чердаке стали на ночь открывать окно. Теперь мне было уже совсем не до сна. Я проводила волшебные ночи,

вслушиваясь и пытаясь разгадать каждый звук и каждый шорох, доносившиеся в мою мансарду через открытое окно. Кроватка моя стояла вдоль стены, под самым окном, и, когда ветер слегка сдувал занавеску в сторону, я видела красновато-лиловое небо: меня очень обрадовало, что ночь не такая темная, как я думала.

Но больше всего меня волновал далекий и неумолчный плач какой-то собаки, которую я окрестила Ёрукоэ — «Ночной голос». Ее лай мешал спать всему нашему кварталу. А мне он казался грустным и загадочным, как меланхолическая песня. Вот бы узнать, отчего эта собака так горько плачет!

Нежный и благоуханный ночной воздух стекал из окна прямо в мою кровать. И я пила и пила его, до полного опьянения. В те ночи я была готова возлюбить всю Вселенную только за этот опьянявший меня ночной кислород.

В эти сладостные бессонные ночи мой слух и обоняние работали на полную катушку. Но вот бы посмотреть, что делается за окном, которое походило на иллюминатор и все сильнее манило меня к себе!

Однажды ночью я не выдержала. Я взобралась на решетку своей кровати, подняла руки как мож-

но выше и ухватилась за нижний край окошка. Совершив этот подвиг, я осмелела еще больше, и мне удалось подтянуть мое дебильное тело до окна. Повиснув на животе и держась локтями за край окна, я высунулась из своего иллюминатора и залюбовалась ночным пейзажем: темными очертаниями огромных гор, великолепными массивными крышами соседних домов, свечением вишен в цвету, таинственными ночными улицами.

Я попыталась высунуться еще больше, чтобы посмотреть на полянку, где Нисио-сан развешивала белье, и тут случилось неизбежное: я вывалилась наружу.

Но меня спасло чудо: падая, я инстинктивно раздвинула ноги, и они зацепились за внутренние края окошка. Мои нижние конечности лежали теперь на узком карнизе и проходившей здесь водосточной трубе, а туловище и голова болтались в воздухе.

Когда первый страх миновал, мне стал нравиться мой новый наблюдательный пост. Я долго и с большим интересом разглядывала тыльную сторону дома. Затем попробовала слегка покачаться из стороны в сторону и предалась баллистическим опытам, стараясь плюнуть как

можно дальше.

Утром, когда мама вошла в комнату, она вскрикнула от ужаса: кровать была пуста, а из окна торчали лишь мои ноги. Она схватила меня за икры, втащила intra-muros и задала мне хорошую взбучку.

— Ей нельзя спать одной. Это слишком опасно, — решили мои родители.

Было решено, что на чердак переберется мой брат, а я вместо него буду спать в одной комнате с сестрой. Это новое переселение полностью перевернуло мою жизнь. Столь близкое соседство лишь подогрело мою страстную любовь к сестренке, с которой мы будем жить в одной комнате последующие пятнадцать лет. Теперь я не спала, потому что по ночам разглядывала свою сестру. Феи, щедро одарившие ее при рождении своими милостями, благосклонно оберегали ее сон.

Моя сестренка безмятежно спала, не замечая моего разглядывания, и я любовалась ею все ночи напролет. Я вслушивалась в ее ритмичное дыхание и нежные вздохи. Никто еще не изучил так хорошо сон другого человека, как я.

Двадцать лет спустя я с душевным трепетом прочла стихотворение Арагона:

Я в дом проник,

как тать, как вор ночной,
Твой сон дышал пьянящей резедой. <…>
И этот легкий вздох —
подобный сну —
Тревожную нарушил тишину.
Я – стражник твой.
Я умереть готов
От шелестенья
собственных шагов
в ночной тиши.
Храню твой дом, и тишину, и сон —
И этот —
еле слышный
нежный стон
в ночной тиши.
Я только ради этого живу —
Беречь твой вздох —
во сне и наяву —
И лишь одно я имя назову
в ночной тиши —
Эльза.

Мне было достаточно заменить имя Эльза на

Жюльетту.

Она спала за нас двоих. И утром, благодаря безмятежному сну моей сестренки, я вставала бодрая и свежая.

Май начался просто замечательно.

Вокруг Маленького Зеленого Озера буйно зацвели азалии. Словно нечаянная искра попала в порох, и вся гора мгновенно запламенела. Я плескалась теперь среди ярко-розового цветника.

Дневная температура не опускалась ниже двадцати градусов: настоящий рай! Я уже была готова поверить, что май — лучший месяц в году, но тут разразился скандал: родители установили в саду мачту, а на нее повесили огромную рыбину из красной бумаги, которая на ветру хлопала и развевалась, как флаг.

Я спросила, что это значит. Мне объяснили, что это карп и его повесили в честь мальчиков, потому что май — это месяц мальчиков. Я сказала, что не улавливаю связи. Мне разъяснили, что карп символизирует мальчиков и потому дома, где есть хотя бы один ребенок мужского пола, украшают вот такой рыбной символикой.

— А когда будет месяц девочек? — поинтересовалась я.

— Такого месяца нет.

Я онемела от возмущения. Разве можно мириться с такой вопиющей несправедливостью?

Андре и Юго, видя мою реакцию, весело усмехались.

— А почему для мальчиков выбрали карпа? — настаивала я.

— Почему маленькие дети всегда спрашивают «почему»? — отбрили меня мальчишки.

Я обиделась и ушла, так и не получив ответа на свой вполне законный вопрос.

Конечно, я знала, что между полами существует какая-то разница, но меня это не очень занимало. Ведь на земле живет столько разных людей: японцы и бельгийцы (я полагала, что все белые — бельгийцы, кроме меня, так как себя я считала японкой), дети и взрослые, добряки и злюки и т. д. В том числе: женщины и мужчины. Впервые у меня зародилось подозрение, что тут кроется какая-то тайна.

Я долго стояла в саду под мачтой и разглядывала карпа. Неужели он больше похож на брата, чем на меня? И за какие такие заслуги мужскому полу посвятили знамя да еще в придачу целый месяц, а fortiori[4] волшебный по красоте месяц азалий? В

---

[4] Примечания: 4
Тем более *(лат.).*

то время как для женщин пожалели даже самого захудалого флажка и хотя бы одного дня!

Я пнула мачту ногой, но она этого даже не заметила.

Теперь я уже не была уверена, что май — самый лучший месяц.

Той порой и вишни облетели, словно среди весны наступила осень. И свежая зелень поблекла, и соседние кусты поникли.

Что ж, май вполне заслуживает того, чтобы быть месяцем мальчиков: это месяц увядания.

Я пожелала, чтобы мне показали живых карпов, как некий японский император потребовал, чтобы ему показали живого слона.

Это оказалось проще простого: в Японии живые карпы — на каждом шагу, a fortiori в мае.

От них никуда не спрячешься, даже если очень захочешь, — они то и дело попадаются на глаза. В любом публичном саду, если там есть хоть какая-нибудь лужица, в ней непременно плавают карпы. Кои, как называют их в Японии, считаются здесь невкусными, и эту рыбу никто не ест. Карпами здесь только любуются.

Для японцев пойти в парк, чтобы полюбоваться карпами, — такая же культурная акция, как посетить концерт симфонической музыки.

Нисио-сан повела меня в дендрарий Футатаби. Я шагала, задрав голову вверх, и ошеломленно разглядывала огромные и величавые криптомерии. Меня особенно потряс их возраст: я прожила всего два с половиной года, а они двести пятьдесят лет — значит, они в буквальном смысле старше меня в сто раз.

Футатаби был ботаническим раем. Это богатство и великолепие ухоженной природы покоряло любого человека, даже если сам он, как я, жил в окружении неземной красоты. Казалось, деревья здесь были преисполнены сознания собственного величия.

Мы подошли к пруду. Он переливался всеми цветами радуги, и в нем кипела жизнь. На противоположном берегу буддийский монах бросал в пруд крошки, и из воды выпрыгивали карпы, ловя корм на лету. Меня поразило, какие тут водились великаны. Это был разноцветный фонтан карпов — их чешуя переливалась всевозможными оттенками: от стальной голубизны, серебра и перламутра до красно-оранжевого, черного и золотого.

Сощурив глаза, я любовалась этим сверкающим фейерверком. А когда открывала, то ничего, кроме гадливости, эти жирные рыбы-дивы, эти

перекормленные жрицы рыбоводства у меня не вызывали.

Они походили на оперную примадонну Кастафьоре из «Тентена» — толстомясую тетку, разряженную в пушисто-щекочущие меха. Только карпы были немыми. А красочные мантии лишь подчеркивали нелепость этих уродин, как цветная татуировка привлекает взгляд к жировым складкам толстяков. Более отвратного зрелища мне еще видеть не доводилось. Пусть эти безобразные рыбины символизируют мальчиков, я не против.

— Карпы живут более ста лет, — почтительно произнесла Нисио-сан.

Я не понимала, чему тут радоваться. Зачем им так долго жить? Вот если это криптомерия, то с годами ее благородная и царственная красота лишь набирает силу, и она возвышается огромным памятником великолепной мощи и терпению, вызывая почтительную робость и всеобщее восхищение.

А если карп проживет сто лет, то он только обрастет жиром и покроется плесенью в своей илистой заводи. Если вы думаете, что нет ничего противней свежего рыбьего жира, то ошибаетесь. Старый рыбий жир еще противнее.

Свое мнение я сохранила при себе. Когда мы вернулись домой, Нисио-сан заверила моих домочадцев, что карпы привели меня в восторг. Я не возражала: мне уже давно надоело разъяснять им свои взгляды на жизнь.

Андре, Юго, Жюльетта и я принимали ванну вместе. На мой взгляд, эти тощие мальчишки меньше всего походили на карпов. Но все равно были противными. С карпами их роднило только то, что и те и другие были противными. Вот почему эту рыбину и выбрали в качестве мальчишеского символа. Для девочек никогда бы не выбрали такого гадкого животного.

Я попросила маму сводить меня в знаменитый на весь мир «апуариум» Кобе (мне почему-то никак не давалось это слово). Моих родителей крайне удивил мой интерес к ихтиологии.

В действительности мне хотелось удостовериться, все ли рыбы так же безобразны, как карпы. Я долго разглядывала фауну, обитавшую в огромных стеклянных аквариумах: сколько там было живописных и щегольски разряженных рыб и прочей водной живности! Некоторые выглядели столь фантасмагорично, будто сошли с абстрактных полотен. Всевышний, видимо, решил порадовать себя, создавая эти немыслимые

по красоте, но вполне пригодные для жизни в воде роскошные наряды.

Мой приговор был окончательным и обжалованию не подлежал: из всех рыб карп был самым гадким. Собственно, один только карп и показался мне гадким.

В душе я злорадствовала. Заметив мое ликование, проницательная мама поспешила объявить:

— Наша малышка станет биологом и будет изучать подводный мир.

Японцы правильно сделали, что выбрали карпа в качестве эмблемы для этого дурацкого мужского пола.

Я любила своего отца и терпела Юго — ведь он спас мне жизнь, но мой брат — это было сущее наказание. Если ему удавалось на несколько часов испортить мне настроение, он радовался этому целый день. Похоже, все старшие братья такие, может, их вообще следовало бы уничтожать как вид.

В июне наступила жара. Все дни я проводила теперь в саду и только на ночь, да и то неохотно, покидала его. Как только закончился май, рыбный флаг и мачту убрали: мальчики были больше не в чести. Словно развинтили на части статую

неприятного мне человека. Все, никакого карпа в небе. Поэтому июнь сразу же мне понравился.

Температура воздуха располагала к спектаклям под открытым небом. И мне сказали, что все мы приглашены послушать, как поет мой отец.

— Папа поет?

— Да, он поет в Но.

— А что это такое?

— Увидишь.

Мне ни разу не доводилось слышать, чтобы мой отец пел: может, он прятался, чтобы попеть в одиночестве, или пел только в школе, под руководством своего учителя Но.

Только спустя двадцать лет я узнаю историю о том, как мой отец, совершенно не помышлявший о певческой карьере, стал певцом в театре Но. В 1967 году он прибыл в Осаку в качестве бельгийского консула. Оказавшись впервые в азиатской стране, этот молодой тридцатилетний дипломат сразу же воспылал к ней страстной любовью, и любовь эта будет взаимной. И свою любовь к Японии мой отец сохранит на всю жизнь.

С энтузиазмом неофита он жаждал познать все чудеса Империи. Поскольку он еще не говорил по-японски, его повсюду сопровождала блистательная японская переводчица. Она взяла на

себя также роль гида и заодно приобщала его к различным видам национального искусства. Заметив, с какой радостной отзывчивостью отец открывает для себя Японию, она решила показать ему малодоступную в те годы иностранцам жемчужину традиционной культуры: театр Но. В то время западные люди охотнее посещали театр Кабуки.

Переводчица повела моего отца в самое сердце театра Но — в знаменитую школу Но в Кансае, учитель которой был «живым памятником» древней культуры. У отца возникло чувство, что он перенесся на тысячу лет назад. Это чувство усилилось, когда он услышал неразборчивое бормотание, словно пробивающееся сквозь толщу веков. Это напоминало музейные экспозиции, имитирующие сценки из древних времен, которые разглядывают со скучающей миной.

И только позже он постепенно начнет понимать, что театр Но — это изысканнейшее культурное действо. Как только он почувствует его красоту, он продвинется на шаг по пути познания этого искусства.

Несмотря на смятение, которое эти странные звуки вызвали в тот первый раз у моего отца, он, как истинный дипломат, всем своим видом выра-

жал благостное восхищение. Он несколько часов терпеливо слушал этот непонятный речитатив, ничем не выдавая своей скуки.

Между тем, сам того не подозревая, своим появлением он вызвал в школе настоящий переполох. Прощаясь с моим отцом, старый учитель Но подошел к нему и торжественно произнес:

— Досточтимый гость, знайте, что вы первый иностранец, который переступил порог нашего дома. Могу ли я попросить вас высказать свое мнение о песнях, которые вы только что прослушали?

Переводчица добросовестно перевела сказанное.

Смущенный собственным невежеством, отец отважился лишь на банальные комплименты и произнес хвалебные слова о непреходящем значении древней культуры, богатстве художественного наследия этой страны и прочие благоглупости.

В свою очередь смущенная этими банальностями, переводчица решила не выставлять гостя в невыгодном свете. Эта образованная японка в самых утонченных выражениях высказала собственное мнение об услышанном, приписав свои слова гостю.

Слушая ее «перевод», старый учитель раскрывал глаза все шире и шире. Как! Этот белый невежественный чужестранец едва ступил на японскую землю, впервые услышал Но и сумел постичь глубинный и тончайший смысл этого высочайшего искусства!

И учитель совершил поступок, невозможный для японца, a fortiori для «живого памятника» культуры — он взял чужестранца за руку и торжественно изрек:

— Досточтимый гость, вы настоящий маг! Вы необыкновенный человек! Вы должны стать моим учеником!

Будучи безупречным дипломатом, мой отец с помощью сопровождавшей его дамы радостно ответил:

— Это мое самое сокровенное желание.

В ту минуту он не представлял себе всех последствий своего жеста вежливости, полагая, что никто не примет его всерьез. Но старый учитель, не откладывая в долгий ящик, тут же назначил ему время первого урока и попросил прийти на следующий день в семь часов утра.

На следующее утро любой здравомыслящий человек попросил бы свою секретаршу отменить по телефону этот нелепый урок. Любой, но не

мой родитель. Встав на рассвете, он явился в точно назначенный час. Почтенный профессор воспринял это как должное и принялся обучать его, не проявляя ни малейшего снисхождения: такая широкая душа, как у этого чужестранца, заслуживала высочайшего уважения, то есть самой суровой требовательности.

К концу урока мой бедный отец был еле живым от усталости.

— Очень хорошо, — похвалил его старый учитель. — Приходите завтра в это же время.

— Но… дело в том, что… в восемь тридцать начинается мой рабочий день в консульстве.

— Ничего страшного. Приходите в пять утра.

Усталый и растерянный ученик послушно кивнул. И каждое утро, в этот бесчеловечно ранний час, мой отец, у которого и без того хватало обязанностей, будет ходить к учителю в школу Но. Только в выходные дни он мог позволить себе неслыханную роскошь — начинать урок несколько позже, в семь утра.

Бельгийский ученик чувствовал себя раздавленным этим «живым памятником» японской цивилизации, к которой тот его старался приобщить. Мой отец, до приезда в Японию любивший футбол и велосипед, задавался теперь печальным

вопросом: за что ему выпал сей горький жребий — пожертвовать своей жизнью ради столь непонятного искусства, как Но? Оно было ему столь же близко, как суровый янсенизм[5] бонвивану или добровольный аскетизм — обжоре.

Однако мой отец ошибался. А старый учитель был прав. Он сразу же угадал, что в широкой груди этого чужестранца живет великолепно звучащий музыкальный инструмент.

— Вы отлично поете, — сказал он отцу, который к этому времени освоил японский. — Я думаю, вам необходимо продолжить образование, и я научу вас танцевать.

— Что? Танцевать?.. Но, досточтимый учитель, посмотрите на меня! — растерянно забормотал бельгиец, показывая на свое грузное и неповоротливое тело.

— Не понимаю, что вас смущает. Завтра в пять утра начнем урок танцев.

На следующий день после трех часов занятий растерянным выглядел уже учитель. Несмотря на все свое терпение, он не смог добиться от моего неуклюжего родителя ни одного мало-мальски приемлемого танцевального па.

---

[5] Примечания: 5

Янсенизм — течение во французском и нидерландском католицизме, начало которому положил голландский богослов Янсений.

И тогда опечаленный «живой памятник» культуры вежливо изрек:

— Для вас мы сделаем исключение. Вы будете певцом Но, который не танцует.

Позже, умирая от смеха, старый учитель будет рассказывать своим хористам, как комично выглядел бельгиец, когда пытался исполнить танец с веером.

Однако это не помешало горе-танцору стать если не блистательным, то вполне приличным певцом Но. Поскольку отец был единственным иностранцем в мире, который освоил это искусство, он прославился в Японии под именем «Певца Но с голубыми глазами», и это имя закрепилось за ним навсегда.

Все пять лет своей консульской службы в Осаке он каждое утро вставал с рассветом и шел на урок к почтенному профессору. И между ними возникли необыкновенные узы трогательной дружбы и взаимного восхищения, которые связывают в Стране восходящего солнца ученика и сэнсэя.

В свои два с половиной года я еще ничего не знала об этой истории. Я понятия не имела о том, чем занимается мой отец.

Вечером он возвращался домой, а где он проводил дни, я не знала.

— Что делает папа? — спросила я как-то маму.

— Он консул.

Еще одно незнакомое слово, которое предстоит разгадать.

Наступил день спектакля. После полудня мама повела всех нас — Юго, сестру, брата и меня — в храм. Традиционная сцена для спектакля Но была установлена под открытым небом в саду при храме.

Как и все зрители, мы получили по жесткой подушке, чтобы подложить ее под колени. Вокруг была дивная красота, и я с нетерпением ожидала спектакля.

И вот опера началась. Я увидела, как на сцену очень-очень медленно вышел отец. На нем был великолепный костюм. Я почувствовала прилив гордости за родителя, облаченного в такой красивый наряд.

И тут он запел. От испуга я чуть не вскрикнула. Что это за странные и ужасные звуки доносятся из его живота? Что это за непонятный язык? Почему я не узнаю отцовского голоса? На что он жалуется? Что с ним стряслось? Я была готова расплакаться и шепотом спросила у мамы:

— Что с папой?

Но она сказала, чтобы я замолчала.

Разве так поют? Вот когда Нисио-сан поет мне песенки-считалки, это звучит здорово. Но разве может нравиться шум, вылетающий изо рта моего отца? Этот непонятный шум пугал меня, мне хотелось убежать из этого сада.

И только позже, гораздо позже я смогу оценить Но и проникнусь к нему страстной любовью, совсем как мой родитель, который, осваивая секреты Но, без памяти полюбил это искусство. Однако простодушный и неподготовленный зритель, впервые попавший в театр Но, не испытывает ничего, кроме глубочайшей растерянности, как и любой иностранец, впервые отведавший соленую и терпкую сливу, которую непременно подают в Японии на завтрак.

Это были тягостные для меня часы. Поначалу я испугалась, а потом заскучала. Опера длилась целых четыре часа, и на сцене ровно ничего не происходило. Я не понимала, зачем мы тут сидим. Видимо, не я одна задавалась подобным вопросом. Юго и Андре не скрывали, что умирают от скуки. Жюльетта мирно спала на своей подушке. Я завидовала этой счастливице. Даже мама несколько раз с трудом сдержала зевоту.

Отец, которого освободили от обязанности танцевать, всю оперу просидел на коленях и без

конца тянул свои заунывные псалмы. Я пыталась вообразить, о чем он сейчас думает. Окружавшая меня японская публика бесстрастно внимала его речитативу — сие означало, что поет он хорошо.

Когда солнце зашло, спектакль наконец закончился. Бельгийский актер встал с колен и, в нарушение всех традиций, бегом покинул сцену: для японца просидеть много часов на коленях — самое обычное дело, а у отца затекли ноги. И он поспешил удрать за кулисы, чтобы размять конечности. В любом случае в театре Но певец не выходит на аплодисменты, которые раздаются крайне редко. Овации и поклоны артистов воспринимаются здесь как верх вульгарности.

Вечером отец спросил, понравился ли мне спектакль. Вместо ответа я спросила:

— Это и есть твоя работа? Ты поешь?

— Нет, мне трудно объяснить, чем занимается консул. Я тебе объясню, когда ты подрастешь.

Он что-то скрывает, подумала я. Видно, занимается чем-то неприличным.

Когда я раскладывала на коленках и листала «Тентена», никто не догадывался, что я читаю. Все думали, что я лишь смотрю картинки. Тайком от всех я читала и Библию. В Ветхом Завете я ровным счетом ничего не поняла, а в Новом кое-что

сумела разобрать.

Я обожала историю о том, как Иисус прощает Марию Магдалину, хотя и не понимала, какие грехи она совершила, — эта деталь меня почему-то не занимала; мне ужасно нравилось, что она бросается перед ним на колени и своими длинными волосами вытирает ему ноги. Вот бы и мне кто-нибудь вытер ноги волосами!

Жара все усиливалась. В июле начался сезон дождей. Дождь лил почти каждый день, теплый и благодатный. И я сразу же влюбилась в дождь.

С утра до вечера я просиживала на террасе, созерцая, как небо обрушивается на землю. Я воображала себя арбитром этого космогонического матча и считала очки. Тучи выглядели куда более угрожающе, чем земная твердь, но именно она каждый раз выходила победителем, потому что была непревзойденным чемпионом по силе инерции. Когда земля видела, что в небе набухают грозовые тучи, готовые излить на нее накопленную влагу, она затягивала свою привычную песню:

— Давай, колоти меня, да посильней, опрокидывай свои водные запасы, давай, жми, дави, я на все согласна, я даже не пикну, все выдержу, все стерплю, и когда ты все выплюнешь и от тебя

уже ничего не останется, я никуда не денусь, я буду, как всегда, на своем месте.

Иногда я выскакивала из своего убежища и прижималась к жертве-земле, чтобы разделить ее судьбу. Больше всего мне нравилось это делать во время ливня — в кульминационный момент кулачного боя, когда противник лупит по лицу, обрушивая град ударов на раскалывающийся с грохотом земной каркас.

Я смотрела во все глаза, чтобы видеть лицо врага. Меня ужасала его грозная красота. Но я предчувствовала, что в этом поединке он все равно проиграет.

Я знала, на чьей я стороне: я продалась противнику. Я, жительница Земли, выбрала облака: я не могла перед ними устоять. И, не задумываясь, совершила бы ради них любое предательство.

Ко мне подбегала Нисио-сан и тащила под крышу террасы:

— С ума сошла, ты заболеешь.

Пока она снимала с меня мокрую одежду и растирала полотенцем, я зачарованно смотрела на водный поток, который истово продолжал свое дело: драил и драил Землю. У меня было чувство,

что я нахожусь посреди огромной car wash[6].

Но иногда побеждал и дождь. Эта временная победа называлась наводнением.

В те дни вода в нашем квартале поднялась намного выше обычного. Такое случалось в Кансае каждое лето, и никто не воспринимал это как катастрофу, а, следуя давно сложившемуся ритуалу, привычно открывали все уличные *о-мисо* (как здесь называют многоуважаемые канализационные люки).

Когда мы ехали в машине, приходилось передвигаться крайне медленно, чтобы не поднимать фонтаны брызг. Мне казалось, что я плыву в лодке. Сезон дождей нравился мне по многим причинам.

Маленькое Зеленое Озеро увеличилось почти вдвое и затопило прибрежные азалии. У меня теперь было в два раза больше места для плавания. И это было восхитительно — ступать в воде по цветущим кустам.

В один из таких дней, когда дождь ненадолго утих, отец решил прогуляться по нашему кварталу.

— Пойдешь со мной? — спросил он, протягивая

---

[6] Примечания: 6
Мойка автомашин *(англ.).*

мне руку.

От таких предложений не отказываются.

И мы отправились с ним гулять по улицам, залитым водой. Как я любила такие прогулки с отцом: погруженный в свои мысли, он позволял мне озорничать сколько мне вздумается! Никогда в жизни мама не разрешила бы мне прыгать в несущиеся вдоль улицы ручьи, забрызгивая при этом свое платье и папины брюки. А папа не обращал на это никакого внимания.

Мы жили в старом японском квартале, красивом и спокойном: по обе стороны улицы высились стены, крытые японской черепицей, за ними шли сады, и ветви разросшихся деревьев гинкго тянулись к прохожим. Подальше улица переходила в извилистую и немощеную дорогу, которая вела в гору и к Маленькому Зеленому Озеру. Это была моя вселенная: единственный раз в жизни мне выпало такое счастье — жить с радостным чувством, что все здесь мое и я у себя дома. Я шагала, держась за руку отца. Но вдруг я заметила, что моя рука повисла в воздухе, а папы нет рядом.

Я огляделась по сторонам: вокруг — никого. Но я же помнила, что отец только что был рядом. Стоило мне на миг отвернуться, как он бесследно

исчез. Я даже не заметила, когда он выпустил мою руку.

Меня охватила смутная тревога: каким образом человек может так мгновенно улетучиться? Неужели люди — столь хрупкие существа, что могут столь легко и неожиданно теряться? Как могла в секунду исчезнуть такая человеческая громадина, как мой отец?

И тут я услышала папин голос: он мог идти только из-под земли — ведь вокруг меня было по-прежнему пусто. Мне казалось, что его голос доносится с другого конца света.

— Папа, ты где?

— Я здесь, — ответил он спокойно.

— Где здесь?

— Не двигайся. И не подходи ко мне.

— А где ты?

— В метре от тебя, посмотри направо.

— Что случилось?

— Я под тобой. Я провалился в открытый люк.

Я снова осмотрелась и не заметила никакого люка на улице, которая превратилась в реку. Но приглядевшись, я заметила справа от себя водоворот — там, видно, находилась открытая сточная труба.

— Ты упал в мисо, папа? — весело спросила я.

— Да, дорогая, — ответил он невозмутимо, чтобы не напугать меня.

Но лучше бы он напугал. Его спокойствие сбило меня с толку. Я ничуть не взволновалась, и ситуация показалась мне уморительно смешной, а вовсе не опасной. Я с огромным любопытством смотрела в ту сторону, откуда раздавался папин голос, и думала: как же он разговаривает со мной сквозь такую толщу воды? Мне тоже захотелось провалиться, чтобы посмотреть, как он устроился под водой.

— Папа, тебе там хорошо?

— Да. Возвращайся домой и скажи маме, что я упал в люк, поняла? — сказал он все так же спокойно, и я не осознала, что должна бежать как можно скорее.

— Ну, я пошла.

По дороге домой я развлекалась от всей души.

Наконец я поняла, кем работает мой отец, — я даже приостановилась, чтобы обдумать это неожиданное открытие. Ну конечно! Я поняла, что работать консулом — это значит чистить сточные трубы. Папа никогда не говорил мне об этом, потому что стесняется своей профессии. Надо же, какой скрытный!

Я хихикала: вот я и разгадала секрет папиной

деятельности! Он уходит из дома как можно раньше и возвращается только вечером, чтобы я не узнала, где он работает. Но теперь-то я знаю: он целые дни чистит канализацию.

Немного поразмыслив, я решила: хорошо, что мой отец имеет дело с водой — пусть даже и с грязной, но все равно водой, ведь вода — мой друг, она больше всего похожа на меня, и в воде я чувствую себя лучше всего, хотя однажды чуть не утонула. Может быть, это логично, что я едва не погибла в родной для меня стихии? Я еще не знала, что чаще всего нас предают самые близкие друзья, но я уже знала, что самое восхитительное в жизни непременно таит в себе опасность, и если чересчур сильно высовываться из окна или ложиться посреди проезжей дороги, это может плохо кончиться.

Предаваясь этим интересным мыслям, я совсем забыла о поручении, которое дал мне папа-ассенизатор. Я с удовольствием резвилась и прыгала в бегущие по улице ручьи, распевая песенки собственного сочинения; заметив на заборе кошку, которая, боясь промокнуть, не отваживалась перебраться через дорогу, я взяла ее на руки и пересадила на противоположную сторону, не преминув произнести целую речь о пользе и ра-

достях купания. Но этот невоспитанный котяра удрал, даже не поблагодарив меня.

Но почему папа избрал такой странный способ, чтобы раскрыть мне тайну своей профессии? Вместо того чтобы все мне объяснить, он повел меня на место работы и потихоньку спрыгнул туда, чтобы удивить меня. Ну и хитрец! Видно, там он и репетировал свои арии для оперы Но — поэтому я никогда не слышала дома его пения.

Я уселась на тротуар и, смастерив кораблик из листьев гинкго, пустила его в плавание по реке, которая понесла его вперед, а я, радостно подпрыгивая, побежала вслед. До чего же странные эти японцы! Без помощи бельгийца не могут вычистить свои сточные трубы. А может, в Бельгии живут самые знаменитые ассенизаторы? Впрочем, все это не так уж важно. Через месяц мне исполнится три года: хоть бы мне подарили наконец плюшевого слоника! Я неустанно намекала папе и маме, чтобы они исполнили мое желание, но родители бывают такими непонятливыми.

Если бы не наводнение, я сыграла бы в свою любимую игру под названием «Не боюсь!». Я ложилась посреди улицы, напевая про себя песенку, и решала: пока не допою ее до конца, не встану, что бы ни случилось. И всякий раз меня

неизменно волновал вопрос: а если появится машина, хватит ли у меня духа не убежать? При одной только мысли об этой реальной опасности сердце мое бешено колотилось. Увы, в те редкие случаи, когда мне удавалось выскользнуть из-под надзора, чтобы поиграть в «Не боюсь!», ни одна машина так и не проехала по дороге, на которой я лежала, распевая свои песенки. Поэтому мой научный вопрос оставался пока без ответа.

Устав от своих умственных и физических упражнений, а также подземных и водных приключений, я наконец заявилась домой. Там я уселась на террасе и стала вдохновенно крутить волчок. Не знаю, сколько прошло времени, когда мама заметила меня и сказала:

— А, вы уже вернулись.

— Я вернулась одна.

— А где же папа?

— Он остался на работе.

— Он пошел в консульство?

— Папа остался в трубе. Да, он просил тебе об этом сказать.

— Что?

Мама выскочила из дома, села в машину и приказала мне ехать с ней, чтобы я показала трубу, в которой остался папа.

— Ну, наконец! — простонал заждавшийся нас папа-ассенизатор.

Маме не удалось вытащить его в одиночку, и она позвала на помощь соседей, один из которых догадался прихватить веревку. Он бросил ее в мисо. И несколько силачей вытащили моего отца из люка. Чтобы поглазеть на бельгийца, который, на манер древней богини, возник из воды, собралась целая толпа зевак. И было на что посмотреть: наподобие *снежного* человека перед ними появился *грязный* человек. Да и запах был, сами понимаете, не из лучших.

Видя всеобщее изумление, я поняла, что мой родитель попал в канализационную трубу не нарочно, а нечаянно. Не скрою, что испытала при этом некоторое разочарование: я уже вполне свыклась с мыслью, что член нашей семьи работает в сточных водах, и вот теперь придется заново разгадывать, что означает слово «консул».

После этого все решили: до окончания потопа — никаких пешеходных прогулок!

Самое лучшее занятие, когда идет дождь, — это плавать. Победить воду может только вода.

Вся моя жизнь проходила теперь на Маленьком Зеленом Озере. Меня ежедневно провожала туда

Нисио-сан — она пряталась под зонтиком, чтобы не вымокнуть до нитки. А я в этой войне с дождем перешла на сторону противника и уходила из дома в купальнике, чтобы вымокнуть еще до того, как окунусь в озеро. «Быть все время мокрой!» — таков был мой девиз.

Я плавала в озере с утра до вечера. И просто блаженствовала, когда начинался ливень: я вытягивалась на поверхности воды, чтобы сполна насладиться секущим меня божественным душем. Весь мир обрушивался на мое тело. Я открывала рот, чтобы не упустить ни капли из этого водопада. Вселенная щедро одаривала меня своей влагой, и я жаждала испить ее до последнего глотка.

Подо мной — вода, надо мной — вода, во мне — вода, вода — это я. Неспроста мое имя по-японски означает дождь. По его образу и подобию я чувствовала себя драгоценной и грозной, безобидной и смертельно опасной, тихо-задумчивой и шумной, радостной и вредоносной, нежной и гибельной, слабой и сильной, чистой и неотразимой, терпеливой и коварной, музыкальной и оглушительной, но самое главное — я чувствовала себя непобедимой.

Люди могли сколько угодно прятаться от меня

под крышами или зонтиками. Рано или поздно я все равно до них добиралась. Можно было отгораживаться или прятаться от меня за стенами — я просачивалась куда угодно. Даже в пустыне никто не был гарантирован от встречи со мной, а быть может, там даже мечтали обо мне.

На сороковой день потопа люди не выдержали и начали проклинать меня — мне было на это наплевать.

Благодаря своему потопному и антипотопному опыту я открыла, что дождить — верх наслаждения. И некоторые человеческие особи заметили, что лучше не оказывать мне сопротивления, а полностью отдаться мне. А еще лучше — стать мною, то есть дождем, и с чувственным восторгом извергаться на землю моросящей капелью или секучим ливнем и хлестать, хлестать природу и лица, оживлять пересохшие источники и переполнять реки, портить свадьбы и оплакивать похороны, со всей силой обрушиваться на землю — небесным даром или проклятием.

В моем дождливом японском детстве мне жилось так же раздольно, как рыбе в воде.

С утра до вечера я самозабвенно сливалась со своей родной стихией, пока заждавшаяся Нисио-сан не звала меня из воды:

— Выходи из озера! А то растаешь!

Слишком поздно. Я уже давно растаяла.

Август. «Душно», — жаловалась Нисио-сан. Жара действительно стояла как в бане. И погода менялась каждую минуту. То пекло, то ливень. То изнурительные испарения, то снова потоп. И только такая амфибия, как я, наслаждалась жизнью. Только мне было хорошо.

Для папы петь во время такой жары было настоящей мукой. Когда его театр давал представления под открытым небом, он мечтал, чтобы пошел дождь и прервал спектакль. Я тоже об этом мечтала: не только потому, что театр Но наводил на меня скуку — я, как празднику, радовалась ливню. А раскаты грома в горах казались мне самой чудесной музыкой.

В ту пору мне нравилось сочинять всякие небылицы и рассказывать их сестре.

— А у меня есть осел, — хвасталась я.

Почему именно осел? За секунду до этого я еще сама не знала, что сейчас придумаю.

— Настоящий живой осел, — продолжала я отчаянно врать.

— Что ты сочиняешь? — недоверчиво говорила Жюльетта.

— Да, осел. Он живет на лужайке. Я каждый день вижу его по дороге на Маленькое Зеленое Озеро.

— Да нет там никакой лужайки.

— Нет, есть, это тайная лужайка, ее не все знают.

— И какой же он, твой осел?

— Серый, с длинными ушами. Его зовут Каникулу, — сочиняла я.

— Откуда ты знаешь, как его зовут?

— Это я назвала его так.

— Ты не имеешь на это права. Это же не твой осел.

— Нет, мой.

— С чего ты взяла, что он твой?

— Он мне сам об этом сказал.

Моя сестра весело хохочет:

— Лгунишка! Ослы не умеют разговаривать.

Черт! Как я могла об этом забыть! Но я все равно продолжаю настаивать:

— Это волшебный осел, и он умеет разговаривать.

— Не верю.

— Тем хуже для тебя, — говорю я с достоинством.

А про себя думаю: «В следующий раз буду пом-

нить, что животные не разговаривают».

Затем я решаю удивить сестру еще одним сенсационным заявлением:

— А у меня есть таракан.

Вопреки моим ожиданиям эта новость не производит на нее никакого впечатления.

Тогда, чтобы ошеломить ее, я решаю сказать правду:

— Я умею читать.

— Ну да.

— Это правда.

— Ну да, да.

Что ж, правда тоже никого не интересует. Но я не отчаиваюсь и продолжаю свой тест на доверие к самой себе:

— А мне уже три года.

— Почему ты все время врешь?

— Я не вру. Мне три года.

— Исполнится через десять дней!

— Да, мне почти три года.

— Почти не считается. Видишь, ты то и дело врешь.

Придется смириться с этой очевидной истиной: я не вызываю доверия. Ну и пусть. Мне все равно, верят мне или нет. Все равно буду сочинять — для собственного удовольствия.

И мне ничего не оставалось, как рассказывать истории самой себе. Я по крайней мере верила всему, что сочиняла.

На кухне — никого: разве можно упустить такой случай? Я залезаю на стол и начинаю восхождение по северному склону шкафа для продуктов. Одну ногу ставлю на коробку с чаем, другую на пачку печенья и лезу вверх, помогая себе поварешкой, которую использую как крюк. И вот я у цели — я нахожу стратегические запасы шоколада и карамели, которые мама прячет на самом верху.

Вот он, заветный жестяной ларец: сердце подскакивает от радости. Левой ногой упираясь в пакет с рисом, а правой в сушеные водоросли, я не без труда открываю этот ларец, но есть ли преграда, которая выдержала бы взрывную силу моего вожделения! Вот это да! Глазам своим не верю — передо мной настоящий клад: шоколадные монеты, жемчужины-леденцы, россыпи жвачки, диадемы из солодки, браслеты из маршмеллоу. Вот так добыча! В честь одержанной победы я уже собираюсь водрузить свой флаг на этих сладких Гималаях и антиоксидантах Е-428, но тут слышу шаги.

Что делать? Бросив все свои драгоценности на

вершине шкафа, я поспешно спускаюсь вниз и прячусь под стол. Шаги приближаются: я узнаю шлепанцы Нисио-сан и гэта Касимы-сан.

Гувернантка-аристократка усаживается за стол, а моя молодая нянюшка греет воду для чая. Касима-сан командует ею, словно рабыней, и вдобавок говорит ей ужасно оскорбительные вещи:

— Они тебя презирают, это ясно.

— Неправда.

— Да это сразу видно, бельгийская женщина разговаривает с тобой как с плебейкой.

— Единственный человек в доме, кто со мной так разговаривает, это ты.

— Потому что для меня ты и есть плебейка. Я просто не лицемерю.

— Мадам не лицемерит.

— Смешно называть ее мадам.

— Она называет меня Нисио-сан — на ее языке это означает мадам.

— За спиной они называют тебя служанкой.

— Откуда ты знаешь? Ты же не говоришь по-французски.

— Белые всегда презирали японцев.

— Но не они.

— Какая же ты дура!

— Господин поет в театре Но!

— «Господин»! Неужели ты не понимаешь, что этот бельгиец просто насмехается над нами?

— Но он каждое утро встает до зари и ходит на уроки пения.

— Любой солдат рано встает, чтобы защищать свою родину.

— Но он не солдат, а дипломат.

— Видели мы, кому эти дипломаты служили в тысяча девятьсот сороковом году.

— Но мы живем в тысяча девятьсот семидесятом году, Касима-сан.

— Ну и что? Ничего не изменилось.

— Если это твои враги, почему же ты работаешь на них?

— А я и не работаю. Ты разве не заметила?

— Заметила. Но ты берешь у них деньги.

— Это такая малость по сравнению с тем, что они нам должны.

— Они нам ничего не должны.

— Они отняли у нас самую прекрасную страну в мире. Они уничтожили ее в тысяча девятьсот сорок пятом году.

— Но ведь в конце концов мы победили. Наша страна сейчас богаче, чем их.

— Сегодня нашу страну не сравнить с довоенной Японией. Ты не знаешь, какой она была. В то

время японцы могли гордиться тем, что родились в Японии.

— Ты так говоришь, потому что была тогда молодой. Ты идеализируешь прошлое.

— При чем тут моя молодость! Просто для меня то время было прекрасным. А если ты будешь вспоминать свою молодость, тебе нечего вспомнить, кроме нищеты.

— Конечно, потому что я бедная. Я и до войны была бы бедной.

— До войны красота была доступна всем. И богатым и бедным.

— Откуда ты знаешь?

— А сегодня нет больше красоты. Ни для богатых, ни для бедных.

— И сегодня красоты сколько угодно.

— Это жалкие остатки былой красоты. Да и они скоро исчезнут. Япония переживает полный упадок.

— Я это уже слышала.

— Я знаю, что ты со мной не согласна, но тебе пора одуматься. Не так уж они тебя и любят. Ты чересчур наивная и не видишь, что за их улыбками скрывается презрение. И в этом нет ничего удивительного. Люди твоего сословия привыкли, что с ними обращаются как с собаками, и многого

не замечают. А я аристократка и чувствую, когда ко мне относятся без должного уважения.

— К тебе относятся здесь очень уважительно.

— А по-моему, нет. Я дала им понять, чтобы они не путали меня с тобой.

— В результате я стала членом семьи, а ты нет.

— Только такая дура, как ты, может поверить, что они видят в тебе члена семьи.

— Дети меня просто обожают, особенно малышка.

— Естественно! В этом возрасте все они щенята! Покорми любого щенка, и он тебя полюбит!

— Я тоже их люблю, этих щенят.

— Раз тебе нравится быть членом собачьей стаи, тем лучше для тебя. Но не удивляйся, если в один прекрасный день они начнут обращаться с тобой как с собакой.

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что сказала, — словно отрезала Касима-сан и поставила чашку на стол, давая понять, что разговор окончен.

На следующий день Нисио-сан заявила моему отцу о своем уходе.

— На мне слишком большая нагрузка, я устала. Лучше я буду сидеть дома и заниматься своими двойняшками. Моим дочкам всего десять лет, и

они нуждаются в моей заботе.

Родители были в отчаянии, но им ничего не оставалось, как согласиться на ее уход.

А я бросилась на шею к Нисио-сан с воплями:

— Не уходи! Я тебя умоляю!

Она заплакала, но своего решения не изменила. Я заметила, как исподтишка улыбается Касима-сан.

Тогда я побежала к родителям, чтобы рассказать о сцене, которую подслушала, прячась на кухне. Папа жутко рассердился на Касиму-сан и пошел к Нисио-сан, чтобы поговорить с ней наедине. А я рыдала в маминых объятиях и судорожно повторяла:

— Я хочу, чтобы Нисио-сан осталась со мной! Я хочу, чтобы Нисио-сан осталась со мной!

Мама постаралась мне осторожно объяснить, что все равно наступит день, когда мне придется расстаться с Нисио-сан.

— Папа не всегда будет работать в Японии. Через год, два или три мы уедем отсюда. А Нисио-сан останется здесь. И тебе придется с ней расстаться.

Передо мной разверзлась бездна. Я разом услышала столько чудовищных вещей, что не могла усвоить хотя бы одну из них. Моя мать даже не

подозревала, что возвестила мне о начале Апокалипсиса.

От ужаса я просто онемела.

— Так мы не всегда будем здесь жить?

— Нет. Папу переведут потом в другую страну.

— В какую?

— Неизвестно.

— Когда?

— Тоже неизвестно.

— А я никуда не поеду. Я не могу уехать отсюда.

— Так ты больше не хочешь жить с нами?

— Хочу. Но вы все должны остаться здесь.

— Мы не имеем права.

— Почему?

— Папа дипломат. У него такая работа.

— Ну и что?

— Он должен подчиняться приказам, которые приходят из Бельгии.

— Бельгия далеко. Не будет же она его наказывать, если он не послушается.

Мама рассмеялась. А я заплакала еще горше.

— Ты, наверное, пошутила. Мы не уедем отсюда!

— Нет, не пошутила. Придет время — и уедем.

— А я не хочу уезжать! Я останусь здесь! Это моя

страна! Это мой дом!

— Это не твоя страна!

— Нет, моя! Я умру, если уеду отсюда!

Я мотала головой, как сумасшедшая. Я снова была в открытом море, снова тонула, и меня проглотила вода, а я билась изо всех сил, пытаясь хоть за что-то ухватиться, но земля была далеко, и никто не хотел мне помочь.

— Да нет, ты от этого не умрешь.

Но я уже умирала. Я только что узнала ужасную истину, с которой раньше или позже сталкивается любой человек: ты обязательно теряешь все самое дорогое, что у тебя есть. «Сначала дадут, а потом отберут» — так я сформулировала для себя отчаяние, которое станет лейтмотивом моего детства, юности и последующих жизненных перипетий. «Сначала дадут, а потом отберут»: всю жизнь праздник будет чередоваться с трауром. Это будет траур по страстно любимой стране, по горе, по цветам, по дому, по Нисио-сан и по языку, на котором ты научилась говорить. И тебе будет невдомек, какая долгая череда трауров ожидает тебя впереди. Трауров в самом горьком смысле, потому что ничто и никогда уже не вернется и не возродится, даже если тебя постараются одурачить, как бедного Иова, которому Бог даровал

в утешение другую жену, другой дом и других детей. Увы, тебя не так легко одурачить.

— Что я сделала плохого? — рыдая, спрашивала я маму.

— Ничего. Ты здесь ни при чем. Просто так устроена жизнь, вот и все.

Если бы я хоть в чем-то провинилась! Если бы это было карой за мое непослушание! Но нет, просто так устроена жизнь. Хорошая ты или плохая — это ничего не меняет. «Сначала дадут, а потом отберут»: так устроена жизнь.

Когда тебе почти три года, ты уже знаешь, что когда-нибудь умрешь. Но сия печальная перспектива совсем не тревожит: ведь это произойдет так не скоро, что кажется маловероятным. Но вот узнать в этом возрасте, что через год, два или три ты будешь изгнана из райского сада, хотя не нарушила ни одной самой суровой заповеди, — урок жестокий и несправедливый, который причинит бесконечные муки и терзания.

«Сначала дадут, а потом отберут» — если бы ты только знала, что скоро у тебя попытаются отобрать и саму жизнь!

И я плакала, плакала от отчаяния.

Тут к нам вернулись папа и Нисио-сан. Моя нянюшка бросилась ко мне с объятиями:

— Успокойся, я остаюсь, я не ухожу, я остаюсь с тобой, не плачь!

Если бы она сказала мне это четверть часа назад, я вознеслась бы на седьмое небо от счастья. Но теперь я знала, что моя драма лишь отодвигается на какой-то срок. Слабое утешение.

Когда знаешь, что у тебя неизбежно отнимут самое дорогое, можно вести себя по-разному: запретить себе нежно привязываться к людям или к вещам, чтобы последующее расставание прошло менее болезненно, или, напротив, постараться одарить их страстной, безмерной любовью: «Если нам не суждено быть всегда вместе, подарю тебе год неземного счастья».

И я выбираю страстную любовь: обвиваю руками Нисио-сан и сжимаю изо всех своих детских силенок. Но и после этого я еще долго не могу успокоиться, и у меня текут слезы.

Проходившая мимо Касима-сан увидела меня в объятиях растроганной Нисио-сан. Она так и не узнала, что я подслушала ее разговор с моей нянюшкой, но без труда догадалась, что Нисио-сан осталась благодаря мне.

Касима-сан крепко сжала губы. И я поймала ее ненавидящий взгляд.

Отец немного успокоил меня: мы уедем из

Японии только через два или три года. Два-три года показались мне целой вечностью: я смогу еще долго-долго жить в стране, где родилась на свет. Это принесло мне некоторое утешение, но оно было горьким, как лекарства, которые приглушают боль, но не излечивают болезнь. Я посоветовала своему родителю сменить профессию. Он ответил, что карьера ассенизатора его не слишком привлекает.

С этой минуты я начала жить с печальным и торжественным чувством важности всего, что со мной происходит. В тот день трагических открытий после полудня Нисио-сан повела меня на игровую площадку, где я как заведенная целый час прыгала через бортик песочницы, без конца повторяя про себя:

«Запоминай! Запоминай!

Тебя увезут из Японии, ты будешь изгнана из сада, у тебя отнимут Нисио-сан и гору, а потому на всю жизнь запоминай свои сокровища».

Память имеет ту же власть, что и написанное пером: если в книге встречаешь слово «кошка», она представляется тебе совсем не такой, как соседская кошка, что следит за тобой своими необыкновенными глазами. Но при этом ты все же с удовольствием вспоминаешь эту кошку и ее

янтарные глаза.

«Так и с памятью. Твоя бабушка умерла, но ты ее вспоминаешь, и она оживает. Постарайся вписать в свою память все чудеса твоего рая, и ты навсегда унесешь их с собой. И если даже не запомнишь волшебную реальность, то запомнишь восторг, который она у тебя вызывает.

Отныне каждая минута для тебя священна. Самые сладостные из этих минут в храме твоей памяти получат в награду горностаевую мантию и королевскую корону. И воспоминания твои будут царить подобно династиям королей».

Наконец наступил день моего рождения, когда мне исполнилось три года. Это был мой первый день рождения, который я запомнила. Мне казалось, что это событие планетарной значимости. Утром я проснулась с уверенностью, что вся Сюкугава уже празднует мое рождение.

Скок, и я забираюсь в постель спящей сестренки. Я трясу ее за плечо и говорю:

— Мне хочется, чтобы ты первая поздравила меня с днем рождения.

Я не сомневаюсь, что она будет польщена такой честью.

Но она бурчит «С днем рождения» и с недовольным видом переворачивается на другой бок.

Распрощавшись с этой неблагодарной, я спускаюсь в кухню. Нисио-сан не обманула моих ожиданий: она преклоняет колени перед ребенком-богом, то есть мной, и поздравляет меня с моим подвигом. И она права: три года — это вам не пустяк.

Затем она простирается передо мной ниц. Я испытываю огромное удовлетворение.

Я спрашиваю, когда придут меня поздравить жители деревни, или мне подобает выйти на улицу, чтобы услышать их приветствия. Озадаченная Нисио-сан не сразу находится, что ответить:

— Сейчас лето. Люди разъехались на каникулы. А то бы они, конечно, устроили праздник в твою честь.

Я думаю: так даже лучше. Пышные торжества утомили бы меня. Лучше я отпраздную счастливый факт своего рождения в тесном семейном кругу. Когда я получу своего долгожданного плюшевого слона, это будет вершиной праздника.

Родители сказали, что свой подарок я получу после полдника. Юго и Андре поклялись, что сегодня не будут меня дразнить. Касима-сан не сказала мне ничего.

Час идет за часом, и я сгораю от нетерпения. Слон, о котором я мечтала, будет амым лучшим

подарком из всех, что я получала в своей жизни. Интересно, какой у него будет хвост. Я пыталась вообразить своего будущего слона и прикидывала, сколько он будет весить.

Я назову его Слоном: это самое подходящее имя для слона.

В четыре часа дня меня зовут на полдник. Когда я подхожу к столу, то слышу, как громко бухает мое сердце: восемь баллов по шкале Рихтера. Но никакого пакета я не вижу. Должно быть, его спрятали.

Необходимые формальности. Торт. Три зажженные свечи, которые я кое-как задуваю, чтобы поскорее с этим покончить. Песенки.

— А где мой подарок? — не выдерживаю я.

Родители хитро улыбаются:

— Тебя ждет сюрприз.

Меня охватывает беспокойство:

— Так это не то, что я просила?

— Это лучше!

Лучше толстокожей плюшевой зверюги? Нет, это просто невозможно. В душе у меня шевелится нехорошее предчувствие.

— А что это?

Меня ведут в сад, к маленькому прудику, одетому в камень.

— Посмотри в воду.

Я смотрю. Там резвится веселая троица живых карпов.

— Мы заметили, как ты страстно увлеклась рыбами и особенно — карпами. Вот мы и решили подарить тебе три карпа: по карпу за каждый год. Хорошо мы придумали, верно?

— Да, — отвечаю я с холодной вежливостью.

— Один оранжевый, второй зеленый, а третий серебряный. Правда же, это просто замечательно?

— Да, — соглашаюсь я, а про себя думаю, как это отвратительно.

— Ты сама будешь их кормить. Мы заготовили галеты из рисового суфле: ты будешь резать их на мелкие кусочки и бросать рыбам — вот так. Ты довольна?

— Очень.

Адское наказание! Лучше бы уж ничего не дарили.

Я лгала не только из вежливости. Но еще и потому, что ни один из доступных мне языков даже в малейшей степени не смог бы выразить моего горького разочарования.

Есть бесконечно много вопросов человеческого бытия, на которые так никто и не потрудился

ответить. К ним нужно добавить еще один: что творится в голове у любящих родителей, которые не только навязывают детям свои бредовые идеи, но и решают за них, как им жить?

Взрослых людей нередко спрашивают, кем они хотели стать, когда были маленькими. В моем случае этот вопрос лучше задать моим родителям. Из их ответов, с точностью до наоборот, можно было бы узнать о том, что меня никогда не привлекало.

Когда мне исполнилось три года, родители объявили, что «у меня страсть» к разведению карпов. Когда мне было семь лет, они заключили, что я твердо решила стать дипломатом. В двенадцать лет они определили меня в будущие политические деятели. Когда мне стукнуло семнадцать, они постановили, что я стану семейным адвокатом.

Иногда я спрашивала их, откуда у них берутся такие странные идеи. На что они с неизменным апломбом отвечали, что «это и так видно» и что «все так думают». А когда я просила уточнить, кто эти «все», они отвечали:

— Ну, все, кто тебя знает!

Разубеждать их было бессмысленно.

Но вернемся к моему трехлетию. Поскольку мои

родители уже видели меня будущим светилом в области рыбоводства, я, как преданная дочь, решила изобразить некоторую склонность к ихтиологии. Все свои альбомчики для рисования я разрисовывала рыбами с многочисленными плавниками, большими и маленькими, а то и вовсе без плавников, и одевала их в разноцветную чешую: зеленую, красную, синюю с желтым горошком или оранжевую в сиреневую полоску.

— Как хорошо, что мы подарили ей карпов! — умилялись родители, разглядывая мои рыбные шедевры.

Все это было бы только смешно, если бы мне не вменили в обязанность ежедневно кормить эту живность.

Я брала несколько рисовых галет и шла к воде. Вставала на берегу пруда, крошила эти прессованные пластинки и бросала в воду кусочки, похожие на попкорн.

В этом было даже что-то забавное. Если бы только не эти мерзкие твари, которые тут же мчались ко мне, раскрыв пасти, чтобы заполучить свой завтрак.

Мне было противно смотреть на эти пасти, всплывавшие из водной глуби, чтобы набить свои желудки.

Мои родители, которым всегда приходили в голову бредовые идеи, посоветовали мне:

— Смотри: твой брат, сестра и ты — вас трое, как и карпов. Ты можешь назвать оранжевого карпа Андре, зеленого Жюльеттой, а серебряного — в свою честь.

Я тут же нашла благовидный предлог, чтобы не допустить этого ономастического бедствия:

— Нет, нельзя. Юго обидится.

— Ты права. Тогда, может быть, нам прикупить четвертого карпа?

Скорее, скорее! Нужно что-нибудь придумать!

— А я их уже назвала!

— Вот как! И как же ты их назвала?

В секунду придумать три имени! И я придумала:

— Иисус, Мария и Иосиф.

— Иисус, Мария и Иосиф? Тебе не кажется, что это не совсем подходящие имена для рыб?

— Нет, не кажется, — ответила я.

— И кто есть кто?

— Оранжевый — Иосиф, зеленый — Мария и серебряный — Иисус.

Маму особенно позабавил карп по имени Иосиф. Крещение состоялось.

Ежедневно, в полдень, когда солнце поднима-

лось высоко-высоко в небе, я ходила кормить свою троицу. Рыбная жрица, я благословляла рисовую галету, крошила ее на мелкие кусочки и кидала их в воду, приговаривая при этом:

— Примите, ядите: сие есть Тело Мое.

Гадкие рыбины мгновенно откликались на мой голос. Поднимая плавниками фонтаны брызг, Иисус, Мария и Иосиф бросались к своей жратве и, отпихивая друг друга, норовили урвать кусок побольше.

Неужели это такая вкуснятина, что из-за нее стоит драться? Я надкусила это мороженое месиво: пресное, как бумага.

Но надо было видеть, как эти глупые рыбы набрасывались на сию манну небесную, которая, размокнув, и вовсе должна была стать несъедобной.

Безграничное презрение — вот что вызывали у меня эти карпы.

Распределяя между ними прессованный рис, я старалась как можно меньше смотреть на пасти этого мерзкого народца. Когда обжираются люди, и то смотреть противно, но это зрелище не идет ни в какое сравнение с обжирающимися рыбами. Даже сточная труба выглядела привлекательнее, чем их пасти. Диаметр разверстых пастей был

почти равен диаметру рыбьих тел, и все это вместе образовывало бы сплошную трубу, если бы не губы карпов, которые пялились на меня губно-рыбьим взглядом, отвратительные губы, что раскрывались и захлопывались с непристойным чавканьем, эти пасти, похожие на спасательные круги, обжиравшиеся моей жратвой и готовые сожрать и меня заодно с рисом!

Я научилась кормить эту стаю с закрытыми глазами. Чтобы выжить. И выдержать эту пытку. Я вслепую крошила галету и наугад кидала крошки в воду. Раздававшееся тут же хлюпанье «плюф-плюф, хлюп-хлюп» означало, что моя троица, напоминавшая голодающий народ из нищей страны, с готовностью откликалась на мои несложные баллистические опыты. Даже чавканье этих рыбин было невыносимо, но заткнуть уши я не могла.

Это было первое отвращение, которое я испытала в жизни. Странно. Ведь если вспомнить мою жизнь до трех лет, то, движимая научным интересом, я уже исследовала раздавленных лягушек, лепила пирожки из собственных испражнений, рассматривала носовой платок сестренки, у которой был насморк, трогала пальцем кусок сырой говяжьей печенки — и ни разу не испытала при

этом отвращения.

Почему же разверстые пасти этих карпов вызывали у меня непонятный ужас и головокружение, непреодолимую дурноту, холодный пот, болезненное наваждение, судороги всего тела и паралич мозга? Загадка.

Иногда мне приходит в голову, что мы только этим и отличаемся друг от друга: скажи мне, кто тебе противен, и я скажу, кто ты. В наших личностях нет ничего примечательного, а склонности более или менее схожи. Но вот испытываемое нами отвращение говорит о нас больше, чем все остальное.

Десять лет спустя, изучая латынь, я наткнулась на фразу: Carpe diem[7].

Еще до того, как я сумела найти точный перевод, сохранившийся с детства инстинкт подсказал мне: «По карпу в день». Отвратительная поговорка, которая напомнила мне мои детские муки.

«Лови мгновенье!» — вот как следовало бы перевести эту фразу. Лови мгновенье? Скажете тоже. Как их ловить, эти повседневные минуты радости, если до полудня думаешь только о

[7] Примечания: 7

Пользуйся днем, лови день, лови мгновенье, наслаждайся жизнью *(лат.)*. (Гораций, «Оды»).

предстоящей пытке, а после полудня долго приходишь в себя?

Я старалась не думать об этом. Увы, у меня это не получалось. Если бы можно было не думать о наших проблемах, мы были бы счастливейшими людьми.

Как я могла отмахнуться от этих карпов? Это было все равно что сказать святой христианской мученице Бландине, которую бросили на съедение львам: «Да не думай ты об этих львах, вот и все!»

Сравнение это вполне закономерно: у меня возникало все более определенное ощущение, что я кормлю карпов собственным телом. Я стала худеть. После кормежки рыб меня звали к столу, но я не могла смотреть на еду.

Ночью в постели меня продолжали преследовать отверстые рыбьи пасти. Я прятала голову под подушку и плакала от страха. Покрытые чешуей скользкие рыбины ползали по моему телу и душили меня, а их холодные и губастые морды тыкались мне прямо в рот. Жертва зловещих фантазий, я была малолетней наложницей этих чудовищных рыбин.

Иона и кит? Подумаешь! Очутиться в китовом чреве! Что тут страшного? Если бы меня прогло-

тил один из моих карпов, мне было бы куда легче. Меня отвращали не столько рыбьи желудки, сколько пасти, их отвисающие и с хлюпаньем захлопывающиеся клапаны нижних челюстей. Эти пасти насиловали мой рот во время бесконечных ночных кошмаров. Достойные кисти Иеремии Босха, эти зловещие твари, являвшиеся мне во время моих бессонниц, превращали каждую ночь в сплошную муку.

И этот постоянный страх: а вдруг эти бесконечные рыбьи поцелуи изменят мою природу? Вдруг я превращусь в сома? Я то и дело лихорадочно ощупывала свое тело, страшась ужасных превращений.

Мое трехлетие не принесло мне ничего хорошего. Правы японцы: в три года ребенок перестает быть божеством. Что-то утратилось и, увы! навсегда. Утратилось самое ценное, что у меня было: вера в непреходящее благоволение ко мне всего мира.

Я слышала, как родители говорили, что скоро отдадут меня в японский детский садик: какой ужас! Разлучиться с моим любимым садом? Влиться в стаю чужих детей? Какая нелепая затея!

Но у меня были и более серьезные поводы для

беспокойства. В моем саду появилось что-то тревожное. Словно природа уже пресытилась летом. Слишком зелеными и пышными стали кроны деревьев, чересчур разрослась трава, а цветы распустились столь буйно, точно объелись солнцем. Август перевалил на вторую половину, и растения выглядели как усталая красавица на следующее утро после безумной ночной оргии. Красота на моих глазах перерождалась в аляповатость.

Я и не подозревала, что наблюдаю в действии один из самых безжалостных законов Природы: кто не двигается вперед, неизбежно отступает назад. Возможны только развитие или упадок. И между ними — ничего. Апогея не существует. Это иллюзия. Так что никакого лета и не было. Просто это была долгая весна, когда все вокруг наливалось соком и желанием, но как только все расцвело — наступила пора увядания.

Я хорошо помню: это умирание началось после 15 августа. Еще ни один листок не опален желтизной, а листва деревьев столь богата, что в их скорое облысение невозможно поверить. Зеленый ковер щедро покрывает землю, а цветники сплошь усыпаны яркими цветами — ну просто золотая пора. На самом деле это вовсе не золотая

пора, никакой золотой поры не бывает, потому что стабильность невозможна.

В свои три года я еще ничего этого не знала. Я переживала свой звездный час, подобно королю, который перед смертью с полным правом восклицает: «Кому суждено умереть, уже умер»[8]. Мне было не под силу выразить словами поселившуюся во мне тревогу. Но я чувствовала, да, чувствовала приближавшуюся агонию. Природа расцвела слишком пышно, и это было не к добру.

Если бы в те дни я с кем-то поговорила, мне бы рассказали о чередовании времен года. Но когда тебе самой только три года, ты не помнишь прошлого лета и не знаешь о вечном кругообороте и о том, что наступление нового сезона вовсе не грозит необратимым несчастьем.

В два года вообще не замечаешь подобных перемен, и тебе на это наплевать. В четыре года уже замечаешь, но воспоминание о прошлом годе лишает их драматичности. В три года живешь в сплошной тревоге: все подмечаешь, но ничего не понимаешь. Еще не хватает элементарного запаса знаний, чтобы найти объяснение своей

---

[8] Примечания: 8
Имеется в виду персонаж пьесы Э. Ионеско «Король умирает».

тревоге и успокоиться. В три года еще не появилась привычка обращаться за разъяснениями к взрослым, потому что нет уверенности, что они понимают все лучше тебя, и в этом ты, возможно, не так уж далека от истины.

В три года ты все равно что пришелец с Марса. Это очень увлекательно, но и невыносимо трудно: чувствовать себя выброшенным на Землю марсианином. Разглядываешь, разглядываешь все, что тебя окружает, но при этом ничего не понимаешь. Ни кода, ни ключа. Не знаешь, как подступиться. Делаешь выводы, опираясь только на собственные наблюдения. Приходится играть в Аристотеля все двадцать четыре часа в сутки, что довольно утомительно, так как ты еще даже не слышала о существовании древних греков.

Одна ласточка весны не делает. В три года хочется знать, сколько требуется ласточек, чтобы наступила весна. Один увядший цветок еще не делает осени. Два увядших цветка — это тоже еще не осень. Но тебя все равно охватывает беспокойство. И сколько же цветов должно умереть, чтобы пришла пора забить тревогу: идет смерть?!

Предчувствуя наступление хаоса, я пыталась спрятаться от этого предчувствия и крутила волчок, надеясь услышать от него жизненно важный

ответ. Но увы! Я не понимала его языка.

Конец августа. Полдень. Час пытки. Пора кормить карпов.

Смелее! Ты ведь уже столько раз их кормила. И осталась жива. Потерпи, это всего несколько минут.

Беру рисовые котлеты и отправляюсь на пруд. Под отвесно падающими солнечными лучами вода серебрится, как алюминий. Эту блестящую гладь тут же разрушают Иисус, Мария и Иосиф: увидев меня, они по очереди выпрыгивают из воды, приглашая друг друга к столу.

Поиграв в летающих рыб, что при их толщине выглядит просто неприлично, они высовывают из воды свои раскрытые пасти и ждут.

Бросаю им жратву. И все три пасти дружно тянутся вверх. Разверстые трубы тут же заглатывают рисовое месиво. Едва успев проглотить, они требуют еще. Если немного наклониться вперед и заглянуть в широко распахнутые глотки, то кажется, видны их желудки. Я машинально кидаю крошки и чувствую, как от созерцания этих глоток меня охватывает дурнота. Обычно живые существа не обнажают публично свою утробу.

Вот была бы красота, если бы люди показывали всем свои кишки!

Карпы нарушили этот исконный запрет: свой пищеварительный процесс они демонстрируют всему миру. Тебе противно? Но в твоем животе все устроено точно так же. Может быть, тебе потому и противно, что ты узнаешь в них себя. Думаешь, твое племя чем-то отличается от этих рыб? Разве что жует поаккуратнее, но все равно жует, и у твоей матери и сестры все устроено точно так же, как у этих рыб.

А ты, думаешь, другая? Ты тоже труба, которая появилась на свет из другой трубы. В последнее время ты зазналась, так как несколько поумнела и даже научилась думать. Быть может, эти мерзкие пасти так пугают тебя, потому что ты видишь в них собственное отражение? Не забывай, что ты сама труба и уйдешь из жизни тоже трубой, и тебе от этого никуда не деться.

Я приказываю замолчать голосу, который бормочет все эти гадости. Вот уже две недели, ровно в полдень, я прихожу на пруд, чтобы кормить карпов, и не только не привыкла к этой мерзкой процедуре, но переношу ее все хуже и хуже. Я-то думала, что это глупое жеманство или каприз, а если это не так? Если это — важное послание? Тогда нужно не прятаться от этого голоса, а послушать его, чтобы понять, что он хочет сказать.

Пусть говорит!

Смотри же! Смотри хорошенько! Это жизнь! Перед тобой самая обыкновенная жизнь: слизистая оболочка, внутренности и бездонная дыра, которая требует наполнения. Жизнь — это и есть труба, которая глотает, глотает, но никогда не насыщается.

Я стою на самом краю пруда. И со страхом смотрю на свои ноги, которые подкашиваются от слабости. Поднимаю глаза от воды и смотрю на сад, где еще недавно чувствовала себя со всех сторон защищенной, как в драгоценной шкатулке. Но мой сад дышит смертью.

Что же ты выбираешь: жизнь и неустанно заглатывающих жратву карпов или смерть и обреченный на медленное загнивание мир цветов и деревьев? От чего тебя меньше мутит?

Все мысли уходят. Меня бьет дрожь. Опускаю глаза к ненавистным мордам. Мне холодно. Меня покачивает. Ноги как ватные. Я больше не сопротивляюсь. Злые чары победили, я уступаю и лечу в пруд.

Головой я сильно ударяюсь о каменное дно. Но ощущение боли почти сразу проходит. Я не чувствую своего тела, и оно независимо от меня вытягивается в горизонтальном положении

примерно в метре от поверхности воды. Я лежу не двигаясь. Вокруг меня — полное спокойствие. Мой страх растаял. Мне очень хорошо.

Вот странно! Когда я по-настоящему тонула, все во мне яростно сопротивлялось, и я жаждала спастись. На сей раз — ничего похожего. Ведь я сама так решила. Я даже не чувствую, что мне не хватает воздуха.

Наслаждаясь восхитительным покоем, я любуюсь небом, просвечивающим сквозь воду. Солнечный свет нигде не кажется таким прекрасным, как под водой. Я это уже заметила, когда тонула в первый раз.

Мне хорошо. Никогда еще мне не было так хорошо. И мне нравится мир, на который я смотрю сквозь воду. Вода проглотила меня легко и незаметно, и вокруг — ни малейшей ряби. Вспугнутые моим вторжением карпы сбились в углу и замерли в тревожном ожидании. Пруд застыл, как мертвая вода, и сквозь водяной пласт, словно это огромный монокль, я разглядываю свой сад. В этот миг я смотрю только на бамбук: для меня это самое красивое дерево в мире. Сквозь метровую толщу воды бамбук кажется еще прекрасней.

Я счастлива и улыбаюсь.

Вдруг какая-то тень заслоняет от меня бамбук:

я различаю хрупкий силуэт, который склоняется над водой. У меня мелькает мысль: только бы не начали меня спасать. Даже с собой покончить не дадут спокойно.

Но нет. Сквозь призм у воды я постепенно различаю черты человека, который склонился над прудом. Это Касима-сан. Я уже не боюсь, что меня будут спасать. Касима-сан — настоящая японка старых правил, к тому же она меня терпеть не может: этого вполне достаточно, чтобы не протянуть мне руку помощи.

Так и есть. Тонкое и красивое лицо Касимы-сан совершенно бесстрастно. Не двигаясь с места, она смотрит мне в глаза. Видит ли она, что мне хорошо? Не знаю. Попробуй угадай, что думает японка, воспитанная в старых правилах.

Одно только ясно: эта женщина не спасет меня от смерти.

На полпути между садом и небытием я про себя обращаюсь к ней:

«Я знала, что рано или поздно мы с тобой обязательно поладим, Касима-сан. Теперь все хорошо. Когда я тонула в море и видела людей на пляже, которые спокойно смотрели, как я погибаю, мне это казалось ужасным. Теперь благодаря тебе я их понимаю. Они смотрели на меня так же спо-

койно, как и ты. Они не хотели нарушать порядок вещей, по которому мне суждено погибнуть в воде. Они знали, что спасать меня бесполезно. Кому суждено утонуть, все равно утонет. И вот подтверждение: в тот раз мама вытащила меня из воды, но я опять тону».

Что это? Мне чудится, что Касима-сан улыбается.

«Ты правильно делаешь, что улыбаешься. Надо радоваться, когда свершается чья-то судьба. Я рада, что мне не придется больше кормить карпов и я уже никогда не покину Японию».

Теперь я вижу ясно: Касима-сан улыбается. Наконец-то она улыбается мне! Затем она поворачивается и спокойно уходит. Я остаюсь наедине со смертью.

Я наверняка знаю, что Касима-сан никому не скажет, что я тону. Я знаю.

Умереть, оказывается, не так-то легко. Я уже целую вечность нахожусь под водой и все еще жива. Я снова возвращаюсь мыслями к Касиме-сан. До чего же удивительное лицо бывает у человека, когда он смотрит, как вы погибаете, и даже не пытается вас спасти. Ведь чтобы спасти от смерти трехлетнего ребенка, достаточно всего лишь протянуть руку. Но если бы так поступила

эта женщина, она не была бы Касимой-сан.

Зато теперь мне уже никогда не придется бояться смерти.

Это произошло в 1945 году, на юге Японии, на острове Окинава. Что именно произошло? Я даже не знаю, как это назвать.

Только что была объявлена капитуляция. Жители Окинавы знали, что война проиграна, что американцы уже высадились на их землю и вот-вот оккупируют весь остров. Они слышали, что им приказано сложить оружие.

Больше они не знали ничего. Местные власти запугивали, что если придут американцы, то перебьют всех японцев, и жители острова верили этим угрозам. Увидев белых солдат, они начали отступать. Враг победоносно шествовал по их земле, а они всё отступали и отступали. В конце концов они отступили к самому дальнему краю острова, который заканчивался длинным скалистым мысом, круто обрывавшимся над морем. Отступавшие не сомневались, что их ждет смерть от рук врага, и многие из них, не раздумывая, бросались в море.

Скалистый берег был очень высок, а море внизу было утыкано острыми рифами. Ни один человек не выжил. Когда сюда пришли американцы, их

ужаснуло открывшееся перед ними зрелище.

В 1989 году я поехала посмотреть на этот мыс. Ни таблички, ни единого знака, который напоминал бы о том, что здесь произошло. В течение нескольких часов здесь покончили с собой тысячи людей, но никто не счел нужным хоть как-то отметить это место. Море поглотило тела, разбившиеся о скалы. Смерть, обретенная в воде, считается в Японии куда более обычным делом, чем харакири.

Когда я стояла на этом мысе, я пыталась понять тех, кто обрек здесь себя на коллективное самоубийство. Возможно, многие из них бросались в море, так как страшились пыток. А быть может, сама сказочная красота этого места подвигла людей на этот отчаянный шаг, который казался им актом наивысшего патриотизма.

Все это не противоречит моему первоначальному предположению: люди шли на гибель и бросались с этого великолепного мыса, потому что боялись быть убитыми, тысячи людей бросались в море, потому что страшились смерти. И в этом парадоксе есть своя потрясающая логика.

Сегодня бессмысленно одобрять или не одобрять этот коллективный уход из жизни. Самоубийцам Окинавы это уже не поможет. Но я все

же не могу отделаться от мысли, что главная причина самоубийства — это страх смерти.

В три года я об этом еще ничего не знаю. Я лежу в бассейне с карпами и жду смерти. Этот важный миг, должно быть, уже совсем близок, потому что я начинаю вспоминать свою жизнь. Может быть, потому, что она совсем короткая? Но подробности почему-то ускользают. Словно едешь в скором поезде и столь стремительно проносишься мимо небольших городков, что даже не успеваешь прочесть их название. Ну и пусть. Все страхи отступили, и я погружаюсь в дивное состояние покоя.

Единственное число местоимения третьего лица мало-помалу вытесняет местоимение «я», которым я пользовалась последние полгода.

Расставаясь с жизнью, *нечто* чувствует, как превращается в трубу, которой, возможно, оставалось все это время.

Да, тело скоро полностью превратится в трубу. И заполнится моей любимой стихией, моей любимой водой, несущей мне смерть. Освободившись от всех прочих ненужных функций, трубопровод откроет дорогу воде — одной только воде, и ничему другому.

Вдруг чья-то рука хватает за шиворот этот уми-

рающий комок и сильно встряхивает, тем самым грубо и резко возвращая его к местоимению первого лица.

Воздух врывается в мои легкие, которые уже превращались в жабры. Мне больно. Я кричу. Я оживаю. Я открываю глаза. И вижу, что это Нисио-сан вытащила меня из воды.

Она громко зовет на помощь. Она тоже живая. Она хватает меня на руки и бегом несет в дом. Она рассказывает все моей матери, и та, увидев меня, торопливо говорит:

— Скорей в больницу!

Нисио-сан бежит за нами до самой машины. И на смеси японского, французского и английского со слезами рассказывает, в каком состоянии вытащила меня из воды.

Мама укладывает меня на заднее сиденье машины и трогается с места. Она гонит машину с сумасшедшей скоростью, что совсем неразумно, когда хочешь спасти кому-то жизнь. Мама думает, что я была без сознания, и рассказывает, что со мной случилось:

— Ты кормила рыб, поскользнулась и упала в бассейн. В обычной ситуации ты бы легко выплыла. Но при падении ты ударилась о каменное дно и потеряла сознание.

Я растерянно слушаю ее. Я-то знаю, что все было не так.

Но она настойчиво спрашивает:

— Ты понимаешь, что я говорю?

— Да.

Я понимаю, что не нужно открывать ей правду. Понимаю, что лучше придерживаться ее версии. Так удобнее. Впрочем, в любом случае я не смогу объяснить, что со мной произошло. Я еще не знаю, что такое «самоубийство».

Но я не упускаю случая, чтобы заявить:

— Я больше не хочу кормить карпов!

— Ну конечно. Я тебя понимаю. Ты боишься опять упасть в воду. Обещаю, что ты не будешь их больше кормить.

Ну, хоть что-то я выиграла. Не напрасно падала в воду.

— Я буду брать тебя на ручки, и мы будем кормить их вместе.

Я закрываю глаза. Ну вот, опять все сначала.

В больнице мать тащит меня в отделение «Скорой помощи». Мне она говорит:

— У тебя дыра в голове.

Вот это новость! Она приводит меня в восторг, и мне не терпится узнать подробности:

— Где дыра?

— На лбу, где ты стукнулась.

— Большая дыра?

— Да, и у тебя сильное кровотечение.

Она касается пальцами моего виска и показывает их мне: они все в крови. Вот это да! Я залезаю указательным пальцем в зияющую рану, не подозревая, что тем самым только подтверждаю, что я не в себе.

— Ой, тут щель.

— Да, у тебя открытая рана.

Я с удовольствием разглядываю свою кровь.

— Дай мне зеркало! Хочу посмотреть дырку в голове!

— Угомонись!

Медсестры занимаются моей головой и успокаивают мать. Я не слушаю, что они говорят. Все мои мысли — о дырке в голове. Раз мне не дают на нее посмотреть, я пытаюсь ее представить. И представляю себе свою голову с зияющей дырой на виске. Я дрожу от возбуждения.

Я снова засовываю палец в рану: мне хочется залезть в мою голову, чтобы исследовать ее изнутри. Медсестра мягко берет меня за руку и отводит ее. Чья это голова: моя или нет?

— Тебе сейчас зашьют лоб, — говорит мать.

— Ниткой с иголкой?

— Да, примерно так.

Не помню, чтобы меня усыпляли. Но очень хорошо помню, как надо мной склонился врач, держа в руке иголку с черной ниткой, и начал штопать петлицу, образовавшуюся на моем виске, — так портной дошивает иногда платье на клиентке.

Вот так закончилась моя первая — и на сегодняшний день единственная — попытка покончить с собой.

Я скрыла от родителей, что это не был несчастный случай.

Я никому также не рассказала о странном поведении Касимы-сан. Если бы я рассказала об этом, у нее наверняка возникли бы неприятности. Она ненавидела меня и должна была радоваться моей смерти. Не исключаю, что она догадалась об истинной причине моего поступка и проявила уважение к моему выбору.

Огорчало ли меня, что мне спасли жизнь? Да. Была ли я довольна, что меня успели вытащить из воды? Да. Мне было все равно, жить или умереть. Это как отложенная партия.

Я и по сей день сомневаюсь: а вдруг было бы лучше, если бы моя жизненная дорога оборвалась в конце августа 1970 года в пруду с карпами?

Как знать? Мне отнюдь не наскучила жизнь, но кто знает: может быть, по ту сторону еще интересней?

В конечном счете все это не так уж и важно.

В любом случае спасение — не более чем отсрочка. И наступит день, когда никто и никакие увертки уже не помогут.

Но совершенно ясно помню: там, под водой, мне было хорошо.

Временами я думаю: а не привиделось ли мне это приключение? Тогда я иду к зеркалу и на левом виске вижу вполне реальный шрам — красноречивую метку своего детства.

А что было дальше?

Ничего.